Анна Каван

МЕХАНИЗМЫ В ГОЛОВЕ

РОДИМОЕ ПЯТНО

перев. Д. Волчека

Когда мне было четырнадцать, отцу пришлось из-за болезни уехать на год за границу. Было решено, что мама поедет с ним, наш дом на время закроют, а я отправлюсь в небольшой провинциальный пансион.

В этой школе я познакомилась с девочкой по имени Д. Намеренно говорю «познакомилась», а не «подружилась», потому что, хотя я остро чувствовала ее присутствие все время, которое там провела, настоящей дружбы между нами не возникло.

Я обратила внимание на Д. за ужином в мой первый школьный день. Я сидела с другой новенькой за длинным столом, чувствовала себя неуютно, подавленно и немножко скучала по дому в этой шумной компании, столь непохожей на замкнутый, теплый мир, в котором прежде проходила моя жизнь. Смотрела на юные лица пока еще незнакомых девочек; кому-то из них предстояло стать моими друзьями, кому-то — врагами. Одно лицо неодолимо притягивало мой взгляд.

Д. сидела на другом конце стола, почти напротив меня. Ее белокурые волосы среди стольких темных голов завораживали. Был осенний вечер, туманный и промозглый, а зала была скверно освещена. Мне казалось, что весь свет в столовой устремился к Д. и сиял над ее белыми волосами, воскресая и обновляясь. Сейчас я думаю, что наверняка она была красива, но ее облик упорно ускользает от меня, вспоминаю только лицо необыкновенное, не веселое, не меланхоличное, но наделенное удивительной обособленностью, лицо человека, посвященного предначертанной судьбе. Возможно, эти слова не очень-то уместны в отношении школьницы, которая была всего на несколько месяцев старше меня, и, разумеется, в ту пору я не думала о ней так. Я передаю сейчас накопленные, а не мгновенные впечатления. В ту пору я видела просто белокурую девочку, чуть старше меня, которая, поймав мой взгляд и наверняка решив, что я нуждаюсь в поддержке, улыбнулась мне за столом.

Помню, я смотрела на нее с завистью. Мне казалось, что у нее наверняка есть то, чего мне, новенькой, не хватает — успех, популярность, прочное место в школьном мире. Позднее я поняла, что это не совсем так. Странная тень словно окутывала все,

происходящее с Д. Я стала воспринимать эту тень, которую столь сложно определить словами, как некое дополнение к необычному внешнему блеску.

Как передать непонятное ощущение аннулирования, сопровождавшее ее? Хотя она не была непопулярной, близких подруг у нее не появилось, и хотя она считалась одной из. первых в учебе и спорте, какие-то неотвратимые случайности мешали ей достичь большего. Судьбу она явно принимала безропотно: даже — такое создавалось впечатление — не ведая о ней. Я никогда не слышала, чтобы она жаловалась на невезение, постоянно отнимавшее у нее награды.

И при этом она, конечно, не была равнодушной или недалекой.

Хорошо помню один случай, это было уже под конец моего пребывания в школе. В одном из коридоров висела обтянутая зеленым сукном доска, к которой, среди других объявлений, прикрепляли большой лист с нашими именами и оценками, выставленными за неделю. Д. стояла перед этим списком в полном одиночестве и смотрела на него как-то непонятно, не с возмущением, не с горечью, а — как мне показалось — со смесью смирения и страха. Когда я увидела ее лицо, меня охватила волна страстного и необъяснимого сострадания, чувство столь непомерное, столь не оправданное обстоятельствами, что я с удивлением почувствовала, как на глаза навернулись слезы.

— Позволь помочь тебе… Давай я что-нибудь сделаю, — услышала я свои мольбы, сбивчивые, словно на кону оказалась моя собственная судьба.

Вместо ответа Д. закатала рукав и безмолвно показала отметину на предплечье. Это было родимое пятно — неяркое, словно прочерченное выцветшими чернилами, и на первый взгляд похожее на сплетение кровеносных сосудов под кожей. Но, приглядевшись, я обнаружила, что оно напоминает медальон, миниатюру: круг, обрамленный острыми уголками и заключающий небольшой рисунок, очень красивый и нежный — возможно, изображение розы.

— Ты видела такое? — спросила она, и мне показалось, будто она надеется, что я тоже ношу подобный знак.

Что появилось на ее лице — разочарование, смущение или отчаяние, когда я покачала головой? Помню только, что она быстро убежала по коридору и последние дни, которые я провела в школе, старалась избегать меня, так что мы больше ни разу не оставались наедине.

Шли годы, и, хотя я ничего не слышала о Д., я ее не забыла. Изредка, пару раз в год, когда я ехала в поезде, ждала кого-то или одевалась утром, мысль о ней возникала в сопровождении странного дискомфорта, какого-то смятения души, которое я старалась отогнать.

Как-то летом, когда я путешествовала по чужой стране, из-за перемены железнодорожного расписания мне понадобилось сесть на другой поезд в маленьком городке у озера. Ждать нужно было три часа, и я решила прогуляться. Был августовский день, очень жаркий и душный, зловещие грозовые облака вскипали над высокими горами. Сначала я хотела пойти к озеру, где было прохладней, но что-то зловещее в недвижной воде цвета лавы оттолкнуло меня, и я решила подняться в замок — главную достопримечательность округи.

Эта старая крепость возвышалась над городом и была ясно видна с привокзальной площади. Мне показалось, что я дойду за несколько минут, если поднимусь по одной из улочек. Но глаза обманули меня, дорога оказалась довольно долгой.
Когда я добралась по жаре до огромных кованых ворот, меня отчего-то охватила печаль и я уже почти решила не входить, но тут появилась группа туристов, и экскурсовод убедил меня присоединиться к ним.

На вокзале мне объяснили, что в здании расположен музей, так что я удивилась, увидев во дворе стоящих на страже солдат. На мой вопрос экскурсовод ответил, что часть замка по-прежнему используется как тюрьма для нарушителей особого типа. Я ничего не знала о таких спецтюрьмах и попыталась расспросить экскурсовода, но тот, вежливо меня выслушав, уклонился от ответа. Другие туристы тоже, казалось, не одобряли мою

настойчивость. Я сдалась и замолчала. Мы зашли в огромный зал и стали смотреть на темные каменные стены, покрытые зловещей резьбой.

Пока мы переходили из одного мрачного помещения в другое, я все больше жалела о том, что отправилась на эту экскурсию. От каменных плит устали ноги; грозные стены и массивные запертые двери угнетали меня, но мне казалось, что вернуться невозможно: из здания не позволят выйти, пока экскурсовод не проведет нас обратно.

Мы изучали выставку средневекового оружия, и тут я заметила дверцу, почти скрытую доспехами. Не знаю, что это было — бравада, внезапное желание подышать свежим воздухом или просто любопытство, но я обошла увесистые латы рыцаря и нажала на ручку. К моему удивлению, дверь оказалась незапертой. Она легко открылась, и я вышла. Остальные слушали экскурсовода и не обратили на меня внимания.

Я оказалась под открытым небом — в замкнутом, выложенном плитами пространстве, слишком маленьком, чтобы его можно было назвать двором, и настолько зажатом огромными, словно утесы, стенами, что солнце сюда не проникало, а воздух казался мертвенным и гнетущим. Это понравилось мне ничуть не больше интерьеров замка, и я собиралась вернуться на тоскливую экскурсию, но тут случайно посмотрела под ноги. Передо мной было что-то вроде слегка выступающей решетки — как вентиляционное отверстие — чуть ниже моей лодыжки. Приглядевшись, я поняла, что это узкое зарешеченное окошко подземной камеры. Какое-то движение под решеткой среди сорняков, выросших в щелях между плитами, заставило меня приглядеться. Я склонилась и стала всматриваться.

Поначалу я не видела ничего — просто темный подвал. Но вскоре мои глаза привыкли к мраку, и я разглядела под решеткой что-то вроде нар и закутанные очертания лежащего человека. Я не была уверена — мужская это или женская фигура, спеленатая, точно для погребения, но вроде бы различила тусклый отблеск белокурых волос, и тут рука, не толще кости, поднялась немощно, словно стремясь к свету. Почудилось мне, или я действительно разглядела на почти прозрачной коже слабый знак — круглый, зубчатый и заключающий подобие розы?

Не надеюсь, что ужас этой минуты когда-нибудь оставит меня. Я открыла рот, но несколько секунд не могла издать ни звука. И как только почувствовала, что способна позвать узницу, появились солдаты и увели меня прочь. Они говорили грубо и угрожающе; толкая и выкручивая руки, привели меня к офицеру. Меня заставили предъявить паспорт. Сбивчиво, на иностранном языке я начала спрашивать о только что увиденном. Но

потом посмотрела на револьверы, резиновые дубинки, на грубые тупые лица молодых солдат, на неприступного офицера в мундире с портупеей, подумала о массивных стенах, решетках, и отвага покинула меня. В конце концов, что я, незначительная иностранка и женщина к тому же, могу противопоставить ужасающей и неколебимой силе? И как помогу я узнице, если меня саму посадят в тюрьму?

Наконец, после долгого допроса, меня отпустили. Два стражника отвели меня на вокзал и стояли на платформе, пока меня увозил поезд. Что я еще могла поделать? В подземной камере было так темно: могу лишь уповать на то, что глаза обманули меня.

КАК ПОЙТИ В ГОРУ

перев. В. Нугатова

Я живу в низине, где всю зиму стоит туман. В доме так холодно, что, когда вечером я ложусь спать, от подушки мерзнет щека. Мне давно уже одиноко, холодно, тоскливо. Я несколько месяцев не видела солнца. Как-то утром все это вдруг стало нестерпимым. Показалось, что я больше не вынесу холода, одиночества, извечного тумана, что меня не хватит даже на час, и я решила обратиться за помощью к Покровителям. Это было отчаянное решение, однако оно наполнило меня оптимизмом. Вероятно, надевая лучшее платье и аккуратно подкрашиваясь, я нарочно обманывала себя лживыми надеждами.

В последнюю минуту, уже собираясь выйти, я вспомнила, что нужно прихватить с собой гостинец. У меня нет денег на подарок, достойный столь уважаемых людей, но, может быть, в доме есть что-нибудь подходящее? В панике я заметалась по комнатам, словно рассчитывая обнаружить ценный предмет, о существовании которого не догадывалась, обитая здесь. Разумеется, ничего не нашлось. Взгляд упал на яблоки на кухонной полке: даже в этом унылом полумраке их бока отливали желтым и красным. Я поспешно схватила тряпку и до блеска натерла четыре самых спелых. Затем выстелила корзинку чистой бумагой, положила туда яблоки и вышла. Мимоходом я подумала, что, возможно, простые фрукты побалуют нёбо, привыкшее к тепличным персикам и винограду.

Вскоре я вошла в лифт и умчалась на небеса. Слуга в белых чулках и фиолетовых бриджах проводил меня в роскошную комнату. Она располагалась высоко над туманом, на окнах висели тонкие сетчатые шторы, за которыми светило солнце, но, даже не свети оно, это не имело бы никакого значения, ведь комнату ярко освещали спрятанные лампы. Мягкий мшистый ковер на

полу, обитые изысканной парчой кресла и большие диваны, прекрасные букеты в вазах в форме раковин или античных урн.

Мои Покровители еще не пришли, да я и не жаждала встречи с ними, а просто радовалась тому, что сижу в этой теплой комнате, наполненной солнцем и цветочными ароматами: казалось даже, будто в воздухе порхали бабочки. Я словно перенеслась из привычного туманного сумрака обратно в лето — очутилась в райских кущах.

Вскоре явился мой Покровитель — высокий и привлекательный, как и полагается столь важной особе. Все в нем сияло совершенством: туфли с каштановым блеском, рубашка тончайшего шелка, красная гвоздика в петлице и носовой платок в нагрудном кармане, с вышитым монашками вензелем. Покровитель поздоровался с обворожительной учтивостью, мы сели и немного поговорили о том о сем. Он общался со мной, как с ровней. Меня окрылило столь многообещающее начало.
Все мои мечты непременно сбудутся.

Дверь распахнулась, и вошла моя Покровительница. Мы оба встали и устремились ей навстречу. Она была в темно-синем бархатном платье, а на шляпке сидела яркая птичка, напоминавшая редкостную драгоценность. Шею украшало жемчужное ожерелье, холеные руки были унизаны бриллиантами. Покровительница обратилась ко мне с натянутой улыбкой, едва разжимая тонкие губы. Я робко вручила свой скромный подарок, который она любезно приняла и отложила в сторону. Мое настроение немного упало. Мы снова сели в мягкие кресла и пару минут продолжали вежливую беседу. Вдруг наступила пауза. Я поняла, что предварительный разговор окончен и пришло время изложить цель моего визита.

— Там, в тумане, я мерзну от холода и одиночества! — воскликнула я, запинаясь от волнения. — Пожалуйста, проявите доброту. Поделитесь со мной чуточкой своего тепла и солнечного света. Я больше не доставлю вам никаких хлопот.

Мои собеседники весьма многозначительно переглянулись. Я не поняла, что означали их взгляды, но мне стало не по себе. Казалось, они уже рассмотрели мою просьбу и пришли к какому-то соглашению.

Покровитель откинулся в кресле и соединил кончики длинных пальцев. Его запонки блестели, волосы отливали шелком.

— Мы должны рассмотреть этот вопрос объективно, — начал он. Его голос звучал рассудительно,

беспристрастно, и в душе моей вновь проснулась надежда. Но когда Покровитель продолжил, я сообразила, что предупредительность, произведшая на меня столь благоприятное впечатление, на самом деле была лишь деталью идеального ансамбля, и полагаться на нее столь же абсурдно, как на цветок в петлице моего Покровителя. В действительности ему нельзя было доверять.

— Не подумайте, будто я обвиняю вас, — сказал он, — или выступаю в роли вашего судьи, но вы должны признать, что ваше поведение по отношению к нам в прошлом было далеко не удовлетворительным.

Он снова взглянул на мою Покровительницу, и та кивнула. Птичка на ее шляпке словно подмигнула мне блестящими слепыми глазами.

— Да, — подтвердила Покровительница, — своим дурным поведением вы причинили нам очень много хлопот и неприятностей. Вы никогда не учитывали наших желаний и во всем упрямо поступали по-своему. Лишь попав в беду, вы пришли просить нас о помощи.

— Но вы не понимаете, — я расплакалась, тут же устыдившись собственных слез. — Теперь это вопрос жизни и смерти. Пожалуйста, не припоминайте мне прошлого.
Простите, если я вас обидела, но вы же ни в чем не нуждаетесь и можете позволить себе великодушие. Чего вам стоит? Если б вы только знали, как я мечтаю снова жить в лучах солнца!

Сердце мое ушло в пятки. Я впала в отчаяние, заметив, что слушатели не в силах постичь мою мольбу. Я сомневалась, что они вообще меня слышат. Они не знали, что такое туман: это слово было для них пустым звуком. Не знали, каково это — сидеть одной и тосковать в холодной комнате, куда не заглядывает солнце.

— Мы не собираемся обходиться с вами сурово, — отметил мой Покровитель, скрестив ноги. — Никто не посмеет отрицать, что мы проявляли к вам терпение и снисходительность. Мы сделаем все возможное, чтобы забыть и простить. Но вы, со своей стороны, должны пообещать, что перевернете страницу, полностью порвете со своим прошлым и откажетесь от бунтарства.

Он продолжал говорить, но я его больше не слушала. Услышанное наполнило меня разочарованием и безысходностью. Бесполезно искать подход к людям, которые были совершенно неприступными и абсолютно мне не сочувствовали. Почти на последнем издыхании я сдалась на их милость, но в их опустошенных сердцах нашлись для меня только нравоучения. Я со вздохом

расстегнула пальто, которое никто даже не предложил мне снять, хотя в нем было жарко и некомфортно, и печально окинула взглядом красивую комнату — в ее золотисто-цветочной атмосфере могли бы порхать бабочки. Сквозь пелену слез я заметила свои желтые яблоки, задвинутые за огромную коробку шоколадных конфет с ликером, и пожалела, что принесла их сюда, где к ним отнеслись столь пренебрежительно. Возможно, лакей или горничная надкусит одно, после чего их выбросят на помойку. Вы должны начать с твердого намерения выполнить свой долг по отношению к нам, — говорил мой Покровитель. — Вы должны приложить все старания, дабы загладить неприятные воспоминания. И прежде всего — должны продемонстрировать благодарность вашей Покровительнице, заслужить ее прощение и оказаться достойной ее великодушия.

— Но где же мне найти во всем этом хоть чуточку тепла? — в отчаянии вскрикнула

я. Как неуместно прозвучали мои слова в этих безмятежных стенах, и как презрительно вскинули свои головки привередливые цветы!

Теперь-то я знала, что не воспользовалась последним своим шансом. Незачем было больше медлить, а потому я встала и выбежала из комнаты. Лифт тотчас устремился вниз и доставил меня на холодную, туманную улицу — где мне и место.

ВРАГ

перев. В. Нугатова

Где-то на свете у меня есть непримиримый враг, пусть я не знаю его имени и даже не представляю, как он выглядит. На самом деле, войди он сейчас в комнату, пока я это пишу, я бы его не узнала. Долгое время я верила, что какой-то инстинкт подскажет мне, если мы когда-нибудь встретимся лицом к лицу, но теперь-то уж больше так не думаю. Возможно, мы не знакомы, но, скорее всего, он из тех, кого я очень хорошо знаю и, пожалуй, вижусь с ним каждый день. Ведь если он не принадлежит к моему непосредственному окружению, откуда он получает столь обстоятельные сведения о моих перемещениях? Какое бы решение я ни приняла (даже если оно касается такой мелочи, как вечерний визит к другу), мой враг непременно узнает о нем и принимает меры для того, чтобы расстроить мои планы. Ну и, конечно, он так же хорошо проинформирован о более важных делах.

Я абсолютно ничего о нем не знаю, и это делает жизнь невыносимой, ведь приходится подозрительно вглядываться в каждого. Я не могу доверять ни одной

живой душе.

С течением времени меня все больше беспокоит этот проклятый вопрос, ставший подлинным наваждением. С кем бы я ни говорила, постоянно ловлю себя на том, что украдкой внимательно рассматриваю собеседника, пытаясь обнаружить какую- либо примету, изобличающую предателя, полного решимости меня уничтожить. Я не в силах сосредоточиться на работе, поскольку беспрестанно пытаюсь установить личность своего врага и причину его ненависти. Какой из моих поступков повлек за собой столь неумолимое преследование? Я перебираю в памяти события собственной жизни, но никак не нахожу разгадку. Быть может, это положение вещей возникло не по моей вине, а в силу каких-нибудь случайных обстоятельств, о которых мне ничего не известно? Быть может, я пала жертвой неких таинственных политических, религиозных либо финансовых махинаций — обширного, запутанного заговора со столь хитроумными разветвлениями, что они кажутся непосвященным совершенно нелепыми и включают, например, такое внешне бессмысленное требование, как уничтожение всех людей с рыжими волосами или с родинкой на левой ноге?

Это преследование уже почти испортило мою личную жизнь. Друзья и родственники отдалились, в творчестве я зашла в тупик, стала нервной, хмурой и раздражительной, неуверенной в себе — даже речь стала заикающейся и невнятной.

Можно было бы предположить, что теперь уж мой враг сжалится надо мной, что, доведя меня до столь плачевного состояния, он утолит свою мстительность и оставит меня в покое. Но не тут-то было: я точно знаю, что он никогда не смилостивится и не успокоится до тех пор, пока не уничтожит меня полностью. Это начало конца: за последние пару недель я получила почти неопровержимые доказательства, что он начал клеветать на меня в официальных кругах. Недалек тот день, когда за мною придут. Вероятно, они явятся ночью — ни револьверов, ни наручников, все будет спокойно и чинно: два-три человека в форме или в белых куртках, а один со шприцем для подкожных инъекций. Вот что меня ожидает. Я знаю, что обречена, и не собираюсь противиться судьбе, а пишу это лишь для того, чтобы, когда я исчезну навсегда, вы догадались, что мой враг все же одержал верх.

ПЕРЕМЕНА УЧАСТИ

перев. В. Нугатова

Когда семь лет живешь на одном месте, начинают происходить странные вещи. Разумеется, я говорю сейчас не о тех людях, что всю жизнь прожили в своем доме, унаследованном от родителей, дедушки с бабушкой или еще более дальних предков: наверное, к ним следует применять совершенную другую систему закономерностей. Но если кто-нибудь вроде меня — скиталицы по своей натуре, в силу обстоятельств привязывается к определенному жилищу, последствия могут быть весьма неожиданными.

Моей родне всегда не сиделось на месте. Мы никогда не были землевладельцами — напротив, старались не накапливать имущества, способного ограничить свободу передвижений по свету. Так что мое намерение стать домовладелицей вызвало множество толков в семье.

Родственники в один голос советовали мне продать дом. Как я теперь жалею, что не послушалась их наставлений! Но в ту пору мне почему-то страшно не хотелось расставаться с собственностью. Помнится, дядя Луций, ненавидевший долгие путешествия, даже отправился в далекий путь через всю страну (причем в рождественскую стужу!), лишь бы обсудить со мной этот вопрос. Помню, как в ответ на его разумные доводы я приводила аргументы, хотя даже тогда не верила в них до конца, но при этом уверяла, что содержание столь небольшого дома не может стать обременительным и что после его продажи и вложения выручки в дело прибыль получится ничтожная.

Отчего же я так упрямилась? Я спрашивала себя об этом сотни раз, но так и не находила ответа. Быть может, некая разновидность мазохизма, тайное стремление к самонаказанию диктовали мне линию поведения, неизбежно ведущую к катастрофе, которую я с самого начала явственно предчувствовала?

Не то чтобы это место обладало какой-то особой привлекательностью. У дома не было цельного архитектурного замысла — одна половина старая, другая новая. Немудреные линии новой части без труда складывались в простую арифметическую сумму, а старая была запутанной и замысловатой, изобиловала предательскими углами. Крыша прогнулась, точно спина загнанной лошади, и покрылась шершавыми пятнами лишайника. Как ни парадоксально, старую часть пристроили совсем недавно. Когда я только поселилась, это был совершенно новый дом — иными словами, он безусловно простоял не больше десяти-пятнадцати лет. Но теперь кажется, будто одна половина была построена много столетий назад. Я боюсь этой старой части, выросшей за время моего проживания, и отношусь к ней с подозрением.

В солнечный день новый дом напоминает безобидного

серого зверька, который, мирно свернувшись калачиком, ест у меня с руки, ну а старый распахивает по ночам свои неумолимые, обращенные внутрь глаза и следит за мной с почти невыносимой враждебностью. Старые стены занавешены прозрачными шторами ненависти. Дом сидит в засаде, словно хищный зверь, и подстерегает меня — жертву, которую он уже проглотил, самозванку, вторгшуюся в его древние каменные владения.

Он обвивается вокруг меня, наверняка зная, что мне не спастись. Плененная самим его веществом, я напоминаю червя — паразита, которого охотно приютил у себя хозяин. Выгонять гостью пока что рано. Еще пару месяцев или даже лет дом будет питать меня своими ледяными внутренностями, после чего выплюнет, точно совиную погадку, в колодец бескрайнего космоса, куда будут веками опадать моя высохшая кожа и раздавленные кости.

Порой я готова расхохотаться, когда средь бела дня он оборачивается ко мне своим новым лицом. Откуда эта ребяческая тяга к притворству, не способному обмануть никого на свете? Мало того что дом обмотал меня своими ненавистными кишками и скоро извергнет, как рвоту или помет, так ему еще нужно издеваться надо мной, пытаясь ввести в заблуждение!

Наверное, я уже несколько дней не видела старой части. На меня смотрит лишь ручной серый зверек, который свернулся клубком и вот-вот замурлычет по-кошачьи. Внешне все выглядит просто и бесхитростно, но меня так легко не проведешь. Я не теряю бдительности, всегда остаюсь начеку и резко оборачиваюсь, пытаясь застать врасплох того, кто стоит за спиной. Ну и, конечно, рано или поздно из-за нового безобидного фасада поднимется седая голова древнего змия, наполненная вековечной, коварной, невыразимой злобой, — поднимется, дожидаясь своего часа.

ПТИЦЫ

перев. В. Нугатова

Предскажи гадалка все те злоключения, которые мне пришлось пережить этой зимой, я открыто рассмеялась бы над столь преувеличенным перечнем невзгод. Хотя на самом деле крайне трудно преувеличить вереницу несчастий, свалившихся на меня за последние пару месяцев. И все из-за происков тайного врага, которого я даже не знаю по имени! Что может быть горестнее, безжалостнее, возмутительнее? Я готова расплакаться при одной мысли о подобной несправедливости. Но, конечно, бесполезно сетовать, жаловаться или протестовать, ведь никто не обращает внимания, и,

насколько мне известно, в конечном итоге это может быть использовано против меня.

Именно атмосфера мракобесия — одна из самых темных сторон всей истории. Если б я только знала, в чем и кем обвиняема, когда, где и по каким законам меня должны судить, можно было бы методично готовиться к защите и рассудительно излагать обстоятельства дела. Но в том-то и беда, что до меня доходят лишь противоречивые слухи, ничего не ясно и все покрыто мраком, в любую минуту все способно измениться после какого-либо извещения либо вообще без предупреждения.

Как в подобном положении не утратить надежду? Дни тянутся нескончаемой чередой, не принося с собой ничего определенного — лишь разноречивые шушуканья, да, пожалуй, двусмысленные и непостижимые официальные сообщения, в которых сам черт ногу сломит. Находясь в такой ситуации, чрезвычайно трудно не отчаяться: она обрекает на бездействие, пассивное ожидание, нервирующую неопределенность, да еще и без малейшей отдушины, за вычетом редких визитов к моему официальному консультанту, беседа с которым способна как внушить мимолетную надежду, так и погрузить в глубочайшее уныние.

При всем том необходимо продолжать жить, как ни в чем не бывало: работать, выполнять общественные и семейные обязанности, будто твоя жизнь осталась в сущности совершенно нормальной — это-то тяжелее всего. Конечно, становишься нервной, раздражительной, рассеянной, друзья начинают тебя избегать, это отражается на твоей работе, а затем сдает и здоровье. Ты лишаешься сна, все трудней и трудней следить за разговором, интересоваться книгами, музыкой, театром, едой, напитками, сексом и даже собственной внешностью. В конце концов, ты полностью выпадаешь из реальности и оказываешься в мире, где остается только изо дня в день ждать своей участи, о которой можно лишь догадываться, но в любом случае она вряд ли будет более сносной, чем предшествующая неизвестность.

В таком оторванном от реальности состоянии я живу уже некоторое время. Возможно, не очень давно — не больше месяца или около того: в этом ужасном положении утрачиваешь чувство времени, впрочем, как и все остальные чувства. Кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я еще могла сосредоточиться на работе, но я по-прежнему вынуждена изо дня в день просиживать за письменным столом столько же часов, сколько и раньше.

Чем я занимаюсь в эти бесконечные часы, которые когда-то пролетали столь быстро? Окна моего кабинета выходят в сад — небольшой зеленый участок с тремя

деревьями: орехом, вишней и, вероятно, какой-то чахлой разновидностью сливы, точного названия которой я не знаю, хотя кто-то сказал, что это сибирская порода. Когда жизнь восстает против нас, мы склонны искать робкое утешение в простых вещах, и я без стыда признаюсь, что в последнее время мое основное занятие и чуть ли не единственное удовольствие связано с птицами, часто прилетающими зимой на эту маленькую огороженную площадку. С недавних пор я изредка бросаю в траву горсть зерен или кусочки хлеба и другие объедки, оставшиеся от блюд, которые больше не возбуждают у меня аппетита. Весь январь стояла страшная стужа (не могу избавиться от ощущения некой связи между этим лютым холодом и моими страданиями), и в саду почти все время лежал снег — в прошлые зимы я такого не припомню. Из-за столь суровой погоды в саду собиралось необычайно много пташек — большие синицы, малые синицы, длиннохвостые синицы, лазоревки, гаички, зеленушки, зяблики, ну и, конечно, малиновки, скворцы, дрозды и бесчисленные воробьи.

Человек способен выдерживать депрессию лишь до определенного момента, а по достижении этой критической массы необходимо найти какой-нибудь источник удовольствия в собственном окружении — пусть даже самый скромный или низменный (если, конечно, человек вообще намеревается жить дальше). В моем случае эти крошечные птички с их приглушенной расцветкой отвлекли внимание ровно настолько, чтобы я не впала в полное отчаяние. Каждый день я все больше времени провожу у окна, наблюдая за их полетами, ссорами, шустрыми взмахами крыльев, маленькими войнами и альянсами. Любопытно, что я чувствую себя в безопасности, лишь когда стою возле окна. Пока смотрю на птиц, мне кажется, что я защищена от житейских бурь. Само безразличие этих диких зверушек к людям служит для меня некой гарантией. В мире, где все остальное представляет опасность, проявляет враждебность и способно причинить боль, только они не способны мне навредить, поскольку, видимо, даже не ведают о моем существовании. Нежданно-негаданно птицы стали моим утешением и отрадой.

Пару дней назад я стояла, как обычно, у окна, упираясь руками в подоконник. Было позднее утро, и следовало приступить к работе, но меня охватило такое безысходное уныние, что я не могла даже изобразить сосредоточенность.
Наверное, вы удивитесь, что я не помню, какой был день недели, но в свое оправдание могу лишь сказать, что все дни стали для меня одинаковыми, и я не в силах отличить один от другого. Помню, стоял густой туман, ветви деревьев казались неподвижными или изредка покачивались под легким весом какой-нибудь пташки, а

спрессованный снег, так долго пролежавший в саду, хоть и не стал по- настоящему грязным, однако приобрел тусклый, безжизненный вид, очень утомлявший зрение.

В комнату вошла моя служанка и то ли принесла тривиальную новость, то ли задала вопрос, на который я ответила, не оборачиваясь. Она хороший человек, честно прислуживает мне уже много лет, но последние пару недель мне все труднее смотреть ей в лицо из-за болезненной впечатлительности. Знает ли она о нависшем надо мною фатуме? Порой мне кажется, что не знает, но, хоть она и ненаблюдательна, нельзя не заметить произошедшую во мне перемену. Иногда мне мерещится, что служанка из кожи вон лезет, лишь бы раздобыть для меня лакомый кусочек, с особой заботой готовит еду, словно пытаясь возбудить мой аппетит, и, сдается, я улавливаю на ее пожилом лице чуть ли не жалостливое выражение. В тот раз, о котором идет речь, я избегала ее взгляда и продолжала смотреть в сад, чувствуя себя настолько скверно, что даже не могла сохранять перед нею хотя бы видимость усердия. И вдруг мой взор, бесцельно блуждавший по мерклой, бесцветной картине за окном, резко и недоверчиво остановился, изумленный, завороженный столь ярким и неожиданным зрелищем, словно блеклую атмосферу внезапно пронзили два крошечных пылающих метеора. Я не в силах передать, какими яркими были две птички, опустившиеся на голые ветви сливы в грустном, мглистом сумраке зимнего дня. Не только их пестрые перышки, но и движения, воздушные взмахи крыльев — легкие, точно пируэты чрезвычайно изящных танцоров, — создавали впечатление неземной бодрости, радостного оживления, видимо, свойственного гостьям из мира блаженных.

Я удивленно смотрела, отчасти считая себя жертвой галлюцинации и опасаясь, что в следующий миг птицы бесследно исчезнут, а сад останется таким же темным, как прежде. Но они не улетали, хоть и не приближались к еде, которую я бросила из окна, и не смешивались с другими (казавшимися теперь, по контрасту, серыми и неодухотворенными), но сидели на хаотично торчавших редких ветвях сливы, то расправляя крылья, словно в озорном танце с веером, то напуская на себя пародийную важность, будто кадеты пажеского корпуса.

Очарованная видением, я хотела выразить свой восторг вслух, как вдруг что-то заставило меня оглянуться на служанку, по-прежнему стоявшую за спиной. Но, хотя она тоже смотрела в окно, лицо этой доброй женщины было довольно равнодушным, и для меня стало ясно, что она не видела двух ярких птичек, вызвавших у меня столько эмоций.

Какой вывод я должна была из этого сделать? Разве кто-нибудь мог не заметить эти два цветовых пятна,

горевших ярче бриллиантов на сером январском фоне? Оставалось предположить, что птицы видны только мне. С тех пор я придерживаюсь этого заключения, ведь мои бесплотные гостьи больше не покидают меня. Правда, несколько раз в день они исчезают, но потом всегда возвращаются через пару часов, так что, поднимая глаза от бумаги, я внезапно вдохновляюсь при виде их неуместной яркости посреди безотрадного пейзажа. Хороший ли это знак? Я почти готова поверить в это — поверить в предзнаменование, означающее, что мои беды скоро кончатся и дело наконец-то примет более удачный оборот.

Или, возможно, я просто излишне суеверна — точь-в-точь как невезучий игрок, который видит перст судьбы в падении фишки и символический смысл даже в узоре на обоях?

КАК ВЫСКАЗАТЬ ПРЕТЕНЗИЮ

перев. В. Нугатова

Вчера я ходила к своему официальному консультанту. Последние три месяца я довольно часто его навещаю, хотя эти встречи доставляют неудобства и влекут за собой большие расходы. Когда твои дела в столь отчаянном состоянии, ты просто обязана воспользоваться любой доступной помощью, а этот человек по фамилии Д. — моя последняя надежда. Он был единственным оставшимся у меня советчиком и помощником, единственным лицом, с которым я могла обсуждать свои дела и, по сути, единственным человеком, с кем я могла открыто говорить о том невыносимом положении, в котором оказалась. С любым другим бы пришлось быть сдержанной и подозрительной, памятуя об изречении: «Молчание — друг, который никогда не предаст». Ведь откуда мне знать, не враг ли мой собеседник и не связан ли он с клеветниками или с теми, кто в конечном счете и решит мою судьбу?

Даже с Д. я всегда была настороже и с самого начала замечала порой некие предостережения о том, что ему нельзя полностью доверять, но в других случаях он, напротив, внушал доверие: да и что бы со мной сталось, лишись я даже этой, пусть неудовлетворительной, поддержки? Нет, я никогда не смогла бы шагнуть в будущее в полном одиночестве и потому, ради своего же блага, не смею сомневаться в Д.

В первый раз я пришла с доверием. Д. был известен мне как человек еще молодой, но уже приближавшийся к зениту карьеры. Я считала, что мне повезло с ним, хоть нас и разделяло большое расстояние: в те дни я еще не догадывалась, что придется посещать его столь часто.

Поначалу меня приятно поразил его внушительный особняк и комната, в которой Д. меня принимал: бордовые бархатные шторы, удобные кресла, дорогие на вид гобелены.

В самом же человеке я не была так уверена. Я всегда считала, что люди со сходными физическими чертами относятся к одинаковым психотипам, а он принадлежал как раз к той группе, которая никогда не вызывала у меня симпатии. Вместе с тем не приходилось сомневаться в его способностях: он отлично подходил для того, чтобы заняться моим делом, и поскольку я должна была встречаться с ним лишь от случая к случаю (к тому же как клиентка, а не как светская собеседница), то обстоятельство, что мы испытывали взаимную неприязнь, казалось, не имело большого значения. Главное, чтобы Д. уделял достаточно времени моим делам и основательно изучил мои интересы, а к этому он представлялся сперва вполне готовым.

Лишь позднее, когда положение значительно ухудшилось и я была вынуждена консультироваться с ним все чаще и чаще, я перестала верить в его доброе расположение.

Во время наших первых встреч он вел себя крайне предупредительно и даже почтительно, очень внимательно выслушивал все, что я должна была рассказать, и обычно убеждал меня в значительности моего дела. Возможно, это прозвучит нелогично, но именно это его отношение, первоначально столь лестное, вызвало у меня первые смутные подозрения. Если он и в самом деле добросовестно защищал мои интересы, как утверждал сам, зачем тогда стараться всячески меня успокоить, словно пытаясь отвлечь мое внимание от возможного недосмотра с его стороны или скрыть от меня, что дела обстоят вовсе не так радужно, как он заявлял? Но я уже говорила, что он обладал даром внушать доверие и парой ободряющих, убедительных фраз развеивал все мои слабые сомнения и страхи.

Однако вскоре мой беспокойный ум стало терзать другое подозрение. С тех пор как я познакомилась с Д., я ощущала что-то смутно знакомое в его лице с черными бровями, подчеркивавшими глубоко посаженные глаза, куда я никогда не
смотрела достаточно долго и прямо, пытаясь определить их цвет, но предполагала,

что они темно-карие. Время от времени в памяти лениво всплывал полузабытый образ, хотя никак не удавалось вспомнить его во всех деталях. Кажется, не уделяя этой теме особого внимания, я наконец решила, что Д., вероятно, напоминает мне какой-то портрет, увиденный давным-давно в художественной галерее — скорее всего, где-то за границей: ведь внешность у него была явно иностранная и соблюдала забавное равновесие между скрытой чувственностью и преобладающей

интеллигентностью, которое считается главным достоинством некоторых полотен Эль Греко. Но затем, в один прекрасный день, когда я выходила из его дома, столь долго ускользавшее воспоминание внезапно пробудилось во мне так резко и неожиданно, будто я столкнулась на улице с пешеходом. Лицо Д. напоминало вовсе не старинный портрет, а журнальный фотоснимок, сравнительно недавно помещенный в иллюстрированном издании, которое, возможно, все еще валялось где-то в моей гостиной.

Едва добравшись домой, я принялась рыться в газетах и журналах, по рассеянности сваленных беспорядочной грудой. Вскоре я нашла то, что искала. Со страницы на меня мрачно уставилась физиономия молодого убийцы, в общих чертах совпадавшая с тем чернобровым лицом, что смотрело на меня незадолго до этого в уютной комнате с занавешенными окнами.

Странно, почему это случайное сходство произвело на меня столь сильное впечатление? Неужели человек, внешне похожий на какого-нибудь убийцу, обязательно должен обладать склонностью к насилию или, точнее, обладая таковой, умело сдерживать свои необузданные порывы? Достаточно просто вспомнить об ответственной должности Д., взглянуть на его спокойное, невозмутимое, умное лицо, чтобы ясно понять надуманность подобного сравнения. Весь ход мыслей поражал своей абсурдностью и нелогичностью. Но, тем не менее, я не могла от него отделаться.

Не следует также забывать, что мужчина на фотографии был не обычным убийцей, а фанатиком, человеком необычайно твердых убеждений, который убивал не ради личной выгоды, а из принципа — во имя того, что считал справедливостью. Это аргумент за или против Д.? Я поочередно склоняюсь то к первому, то ко второму, совершенно не в силах определиться.

Из-за этих-то предубеждений (были, конечно, и другие, но их слишком долго перечислять), я и решила передать свое дело другому консультанту. То был серьезный шаг, к которому нельзя подходить легкомысленно, и я потратила уйму времени на обдумывание, пока наконец не отправила заявление, но, даже отослав письмо, вовсе не чувствовала уверенности, что поступила правильно. Конечно, я слышала о людях, менявших своих консультантов, причем не раз, а многократно, и о тех, кто постоянно только то и делал, что бегал от одного к другому: но я всегда презирала их за непостоянство, и общество сходилось во мнении, что эти люди плохо кончат. Но вместе с тем я чувствовала, что в моем случае замену оправдывали исключительные обстоятельства. Составляя письмо-заявление, я старалась избегать любых утверждений, способных навредить Д., и, сделав упор на том, как неудобно и

накладно совершать продолжительные поездки к нему домой, попросила передать мое дело кому-нибудь из университетского городка, расположенного рядом с моим жилищем.

Несколько дней я с тревогой ждала ответа и в конце концов получила целую стопку запутанных бланков, которые следовало заполнить в двух экземплярах. Я все сделала, отослала и снова принялась ждать. Сколько времени занимало это бессильное, изматывающее ожидание! Оно длилось день за днем, неделю за неделей, и к этому невозможно было привыкнуть. Наконец пришел ответ на обычной жесткой голубой бумаге — я уже страшилась одного ее вида. Мою просьбу отклонили. Не приводилось никаких объяснений, почему мне отказали в одолжении, которое делалось сотням других людей. Но, разумеется, от этих должностных лиц объяснений ждать нечего: стиль руководства у них совершенно авторитарный, и на них никогда нельзя рассчитывать. К своему категорическому отказу они соизволили присовокупить лишь заявление о том, что я вправе и вовсе обойтись без услуг консультанта, буде того пожелаю.

Это деспотичное сообщение повергло меня в такое уныние, что я целых две недели провела дома в абсолютном бездействии. Мне не хватало смелости даже выйти за дверь, я сидела в своей комнате, сказываясь больной, и не виделась ни с кем, кроме служанки, приносившей еду. Отговорка насчет болезни была отчасти правдивой, так как я чувствовала себя полностью разбитой физически и морально, измученной, апатичной и подавленной, словно после тяжелой горячки.

Сидя одна в комнате, я без конца обдумывала случившееся. Господи, ну почему власти отклонили мое заявление, если я доподлинно знала, что другим людям разрешается менять консультантов по собственному желанию? Означал ли отказ, что некая особая сторона моего дела отличает его от остальных? В таком случае мое дело рассматривалось более скрупулезно, раз уж мне отказывали в обычных привилегиях. Если б я только знала — если бы только могла выяснить хоть что- нибудь наверняка! Я чрезвычайно старательно составила новое письмо и отправила по официальному адресу, вежливо (боюсь, даже подобострастно) умоляя ответить на мои вопросы. Как же глупо было вот так бесполезно унижаться, наверное, выставляя себя на посмешище перед целой комнатой младших клерков, которые, без. сомнения, от души потешились над моим тщательно продуманным сочинением, после чего швырнули его в корзину для ненужных бумаг! Никакого ответа, естественно, не последовало.

Я прождала еще пару дней, и беспокойство сменилось

отчаянием, которое час от часу становилось все невыносимее. Наконец, вчера я дошла до точки, когда уже больше не могла выдерживать столь сильного напряжения. На всем белом свете существовал лишь один человек, кому я могла излить душу, — единственное лицо, предположительно способное облегчить мою тревогу, — и этим человеком был Д., который, в конце концов, все еще оставался моим официальным консультантом.

Поддавшись минутному порыву, я решила поехать и еще раз с ним встретиться. В моем состоянии совершение каких-либо действий стало насущной необходимостью. Я сложила вещи и вышла, чтобы успеть на поезд.

Светило солнце, и я с удивлением обнаружила, что, пока я сидела взаперти, настолько поглощенная своими проблемами, что даже не выглядывала в окно, зима сменилась весной. Когда я в последний раз смотрела на горы беспристрастно, это был заснеженный брейгелевский пейзаж со светло-коричневыми деревьями, но
теперь снег почти сошел, не считая узкой белой полоски на северном склоне самой высокой лесистой горы. Из окон поезда я видела, как на солнышке резвились зайцы, и любовалась изумрудными линиями озимых: недавно распаханная земля в долинах отливала роскошным бархатом. Открыв вагонное окно, я ощутила теплый порыв ветра, который увлекал в странном, кружащемся любовном танце золотистых ржанок. Как только поезд замедлил ход между высокими насыпями, я заметила в траве глянцевитые желтые чашечки чистотела.

Даже в городе чувствовалось веселье и возрождение жизни. Люди бодро шагали по делам или с довольными лицами топтались перед витринами. Кто-то насвистывал либо тихонько напевал под шум уличного движения, другие размахивали руками или засовывали их поглубже в карманы, а кое-кто уже сбросил верхнюю одежду. На углах торговали цветами. Хотя солнечный свет не проникал в самые темные закоулки, он ярко золотил кровли, и многие прохожие машинально поднимали глаза к блестящим крышам и ласковому, обнадеживавшему небосводу.

Эта атмосфера благотворно повлияла и на меня. По пути я решила откровенно, без утайки рассказать Д. всю историю с письмом и ответом на него, а потом спросить напрямик, что может стоять за этим новым шагом властей. В конце концов, я ведь ничем не обидела Д.: моя просьба о замене консультанта вполне оправдывалась практическими соображениями. К тому же у меня не было никаких объективных причин ему не доверять. Напротив, сейчас, как никогда, необходима безусловная вера, поскольку он один уполномочен защищать мои интересы. Пусть лишь ради сохранения собственной

высокой репутации, но он наверняка сделает все возможное, чтобы мне помочь.

Я дошла до его дома и стала ждать, пока откроется дверь. У ограды стоял нищий, державший перед собой лоток со спичками: худой, моложавый мужчина интеллигентной наружности, тщательно выбритый и одетый в очень старый, но аккуратный синий костюм. Конечно, в городе полно бедняков, они встречаются на каждом шагу, но в ту минуту лучше бы мне не видеть именно этого человека с внешностью школьного учителя, для которого настали черные дни. Мы оказались на столь близком расстоянии, что мне почудилось, будто он попросит у меня милостыню, но мужчина стоял, даже не глядя в мою сторону и не пытаясь предлагать спички прохожим, а полнейшая апатия на его лице вмиг рассеяла весь мой заряд оптимизма.

Войдя в дом, я не сразу забыла об этом представительном бедняке, с которым отчасти ассоциировала себя. В голове промелькнула мысль, что, возможно, когда- нибудь я больше не смогу работать, все мое небольшое состояние уйдет на оплату консультаций, друзья навсегда отдалятся, и, вероятно, я окажусь в точно таком же положении.

Слуга сообщил, что Д. вызвали по важному делу, но он скоро вернется. Меня провели в комнату и попросили подождать. Как только я осталась одна, меня вновь охватила тоска, которую ненадолго развеял солнечный свет. После свежего весеннего воздуха в комнате нечем было дышать, но какое-то мрачное безразличие помешало мне открыть хотя бы одно из плотно занавешенных окон. Огромные напольные часы в углу нравоучительно отсчитывали минуты. Пока я прислушивалась к этому назойливому тиканью, мною постепенно овладело чувство абсолютной тщетности происходящего. Само отсутствие Д. и то обстоятельство, что он именно сегодня заставил меня ждать в этой унылой комнате, произвели неимоверно гнетущее впечатление на мою расшатанную психику. Я впала в отчаяние, любые мои усилия казались заранее обреченными. Я сидела, как истукан, на неудобном стуле с прямой спинкой и кожаным сиденьем, безучастно глядя на часы, стрелки которых уже успели завершить полукруг после моего прихода. Я подумывала о том, чтобы уйти, но мне не хватало сил даже пошевелиться. На меня напала апатия — сродни той, что демонстрировал нищий на улице. Я ощутила уверенность, что мой визит уже закончился провалом, хоть я еще не поговорила с Д.

Вдруг слуга вернулся и доложил, что Д. готов меня принять. Но мне уже расхотелось с ним встречаться, я насилу встала и прошла вслед за слугой в комнату, где за письменным столом сидел мой консультант. Не

знаю, почему, но его привычная поза навела меня на мысль, что на самом деле его никуда не вызывали, что все это время он сидел здесь и заставлял меня ждать из каких-то скрытых побуждений: возможно, с целью вызвать у меня то самое чувство отчаяния, которое я теперь испытывала.

Мы пожали друг другу руки, я села и начала рассказывать, еле ворочая непослушным языком, изрекая слова, которые казались бесполезными еще до того, как я их произносила. Быть может, мне просто померещилось, что Д. слушал не столь внимательно, как в прошлые разы, нервно теребя свою авторучку и лежавшие перед ним бумаги? Однако вскоре его поведение убедило меня, что он прекрасно знаком со всей историей, касавшейся моего письма-заявления и вызванных им последствий. Наверное, власти передали этот вопрос ему на рассмотрение — но кому все это на руку и кто в этом замешан? Теперь мое безразличие сменилось подозрительностью и тревогой, и я пыталась понять, что же предвещает эта двусторонняя связь.

Неожиданно для себя я привела старый довод о неудобствах, запинающимся голосом объяснив, что вынуждена тратить по шесть часов на дорогу туда и обратно, чтобы провести у него меньше часа. На это Д. возразил, что мне больше не придется жаловаться на утомительные поездки, поскольку он уходит в бессрочный отпуск и снимает с себя какие-либо обязательства вплоть до своего возвращения.

Конечно, я отчаялась еще раньше, но представьте себе мое потрясение после этого известия! Я кое-как попрощалась с Д., кое-как побрела по улице и кое-как добралась до поезда, который повез меня теперь уже по бессолнечной местности.

Как тяжело просто сидеть дома, когда остается только ждать! Ждать — труднее всего на свете. Ждать, не имея ни одной живой души, которой можно доверить свои сомнения, страхи, неослабевающие надежды. Ждать, не зная, расценивать ли слова Д. как официальный вердикт, лишающий меня всякой поддержки, как его намерение вернуться к моему вопросу в отдаленном будущем или как подтверждение того, что мое дело уже решено. Просто ждать, не получая даже милосердного права на окончательную утрату надежды.

Порою мне кажется, что некий тайный суд уже рассмотрел мое дело и заочно вынес этот суровый приговор.

ПРОСТО ЕЩЕ ОДНА НЕУДАЧА

перев. В. Нугатова

Когда я вышла из дома Д., мне было очень тревожно и безотрадно, я сердилась на себя и на него — за то, что он отказался мне помочь. Вполне естественно, что, попав в беду, я обратилась к нему. Конечно, он знает больше любого другого обо мне и моих делах, он умный человек, его мнению можно доверять, и благодаря своей профессии он прошел специальную подготовку для консультирования по вопросам такого рода.

— Почему вы не скажете, что мне делать? — возмущенно спросила я в конце беседы. — Почему не предложите определенную линию поведения и не избавите от страданий и неизвестности?

— Этого-то я как раз и не собираюсь делать, — ответил он. — Ваша беда в том, что вы всегда избегаете ответственности. В данном случае вы должны действовать по собственному разумению. Простите, если я кажусь жестоким, но вы должны мне верить, когда я говорю, что в конечном счете гораздо важнее выстоять до конца самой, нежели слепо следовать посторонним советам — моим или чьим бы то ни было еще...

Меня настолько задело неожиданное отношение Д., что, выйдя в зимние лондонские сумерки, я больше думала о нем, нежели о собственной проблеме. В ушах по-прежнему звучал его приятный, мягкий, сочувственный голос, никак не вязавшийся с его же бессердечными словами, а перед глазами стояло чернобровое лицо, смутно напоминавшее какое-то другое, увиденное давным-давно, непомню где — возможно, на картине или на газетном фотоснимке. Меня оскорбило, что он не захотел откликнуться на мою просьбу и сделать одолжение. Мне было стыдно, что я возлагала так много надежд на дружбу, которая все это время, вероятно, оставалась совершенно односторонней. Не исключено, что я выдавала желаемое за действительное и восприняла его сочувственную манеру как свидетельство теплых чувств лично ко мне. Размышляя над этим теперь, я не могу вспомнить ни одного случая за все время нашего знакомства, когда бы его поведение свидетельствовало о чем-то большем, нежели безликая доброжелательность гуманного, отзывчивого и понятливого человека. Мысль о подобной ошибке в особенности терзала меня потому, что по натуре я очень сдержанна и боюсь получить отказ. Я почувствовала, что выдала себя, и теперь Д., наверное, презирает меня или смеется надо мной, хотя в действительности я прекрасно знала, что он слишком хорошо разбирается во внутренних механизмах нашего сознания, и его нельзя обвинять в подобной жестокости.

Пусть эти унизительные мысли вовсе не доставляли удовольствия, я.цеплялась за них изо всех сил, мысленно

даже преувеличивая свою недавнюю обиду, словно мои отношения с Д. были важнее всего на свете. Но, разумеется, мне не удавалось выкинуть свою подлинную проблему из головы. Она никуда не девалась, точно зубная боль, которая мало-помалу усиливается, пока, наконец, не заглушает все прочие ощущения.

Как быть с намеченным свиданием? Передо мной с властной настойчивостью встали вопросы, в таком отчаянии заданные Д., но оставшиеся без ответа. Пойти, как и договаривались, в гостиницу — на встречу с моим мужем и той девушкой, которую он предлагает у нас приютить? Способна я ли эмоционально принять положение, уже принятое рассудком в ходе переговоров? Какой улыбкой, какими словами встречу я эту незнакомку — моложе, красивее, удачливее? Каким неестественно застывшим взором наблюдать мне за взглядами и жестами, знакомыми до боли, но обращенными теперь уже к новой соискательнице?

Непрерывная цепочка этих вопросов, на которые я не могла ответить в принципе (в сущности и не надеясь, не рассчитывая найти хоть какие-либо ответы), в силу самого однообразия стала обретать черты кошмара и неописуемой муки. Мне начинало казаться, что, если не удастся вырваться из этого тошнотворного круга, я внезапно сойду с ума, закричу, совершу какой-нибудь возмутительный акт насилия прямо посреди улицы. Но тяжелее всего было сознавать, что особенности моего характера исключают возможность даже подобного утешения, что я безжалостно связана по рукам и ногам собственным решением не проявлять никаких эмоций.

Я замерзла и устала. Видимо, я долго бродила, не помня дорогу, и вдруг увидела, что стою на малознакомой улице. Наступила ночь, сквозь легкую дымку тускло светили фонари. Я взглянула на часы и обнаружила, что уже почти наступил урочный час нашего свидания.

Не успела я это осознать, как все внезапно преобразилось. Каким-то загадочным образом я превратилась в центральную точку, вокруг которой завращался вечерний мир. Люди, шагавшие по тротуару, мимоходом поглядывали на меня — одни с жалостью, другие с холодным интересом, третьи с каким-то болезненным любопытством. Некоторые подавали украдкой незаметные знаки, но я не знала, предостерегают они или же, наоборот, подбадривают. Освещенные и неосвещенные окна напоминали глаза разной степени проницательности, и все были устремлены на меня. Дома, уличный транспорт — все, что находилось в поле зрения, как будто ожидало, что же я стану делать.

Я развернулась и быстро зашагала в сторону гостиницы. Я торопилась, чтобы не опоздать, но мне почему-то не

пришло в голову поймать такси. Город окружал меня своим вниманием, горящие глаза машин преданно следовали за мной — то ли задумчиво, то ли пророчески. В ушах звенел приятный голос Д., который говорил, что я должна действовать по собственному разумению. Перед моим мысленным взором всплыло чернобровое лицо, всегда вызывавшее смутные воспоминания: оно было не больше мыши и вскоре исчезло.

Я подошла к ярко озаренному входу гостиницы. Люди шныряли туда-сюда через вращавшиеся двери. Я замедлила шаг и наконец остановилась. Даже тогда мне еще казалось, что я должна шагнуть внутрь, явиться на встречу, не ударить лицом в грязь. Но затем мои ноги сами повели меня прочь, и я постигла истину, которую следившие за мной глаза, наверное, знали с самого начала: я готова убежать куда угодно, стерпеть любой позор, любую расплату, любое отчаяние, только бы не оказаться в этой ситуации.

Смогу ли я теперь вынести самобичевание? Вопрос, конечно, риторический, ведь хотя жить в такой безотрадности, после стольких неудач и трудно, умирать, очевидно, еще тяжелее.

ПОВЕСТКА В СУД

перев. В. Нугатова

Р. — старинный мой друг. Когда-то давно мы жили в одном доме, пусть и в разных квартирах, и в ту пору я, конечно, очень часто с ним виделась. Впоследствии наши пути разошлись, нас стали разделять все большие расстояния, мы могли встречаться лишь изредка и с огромными трудностями — один-два раза в год, да и то на пару часов или в лучшем случае на выходные. Однако наша дружба, всегда чисто платоническая, оставалась незыблемой, хотя, естественно, уже невозможно было сохранять прежнюю степень близости. Мне по-прежнему казалось, что между мною и Р. существует тесное и нерушимое взаимопонимание, коренившееся в каком-то принципиальном сходстве характеров, а, следовательно, не подверженное случайным переменам.

С последней нашей встречи прошло особенно много времени, так что я обрадовалась, когда мы наконец смогли условиться о новом свидании. Мы договорились, что встретимся в городе, вместе поужинаем, а вечером отправимся на поезде в пригород — туда, где жил Р.

Встреча была назначена на семь часов. В ресторан я пришла первой и, сдав вещи в гардероб, поднялась по лестнице в небольшой бар, где часто бывала и потому чувствовала себя, как дома. Я заметила, что, вопреки

обыкновению, бармену помогает официант: погрузившись в досужие размышления, как это свойственно всем ожидающим, я задумалась, зачем вдруг понадобился помощник, хотя посетителей в баре не так уж много?

Почти тотчас же появился Р. Мы весело поздоровались и сразу же завели разговор, который, казалось, был прерван лишь накануне.

Мы уселись за стол и заказали напитки. Обслуживал нас не бармен, а официант. Когда он поставил на стол два бокала, меня поразило, какой он невзрачный. Конечно, не следует придавать слишком большого значения внешности, но что-то в наружности этого парня поневоле внушило мне неприязнь. При взгляде на него в памяти почему-то всплыло слово «троглодит». Не знаю, как на самом деле выглядели пещерные люди, но, по-моему, они были очень похожи на этого низкорослого, коренастого, заурядного человечка. Несмотря на отсутствие явного уродства, он казался поразительно нескладным: возможно, виной всему непропорциональная фигура и сильная сутулость. Он не был стариком, но лицо его несло странную печать древности — чего-то векового и почти непристойного, точно пережиток первобытного мира. Особенно четко запомнились его широкие, серые, бесформенные губы, по-видимому, не способные сложиться в цивилизованную улыбку.

Это может показаться странным, но я, наверное, уделила гораздо больше внимания официанту, нежели своему другу, и лишь после того, как мы подняли бокалы, заметила легкое изменение во внешности Р. Со времени нашей прошлой встречи он немного поправился и в целом производил впечатление преуспевающего человека. К тому же на нем был новый костюм, и когда я сделала комплимент по этому поводу, Р. рассказал, что купил его в тот же день, потратив часть значительной суммы, полученной в виде аванса за новейшую книгу.

Мне радостно было слышать, что у него так хорошо идут дела, но в то же время сердце кольнула зависть. Сама я находилась в столь плачевном положении, что поневоле сопоставила свои неудачи с его успехом, который неким подспудным образом делал Р. менее доступным для меня, хотя он оставался таким же дружелюбным и обаятельным, как всегда.

Покончив с напитками, мы спустились в ресторан поужинать. Я изумилась и, признаться, весьма некстати вышла из себя, когда меню принес все тот же официант.

— Вы что, внизу тоже обслуживаете? — с досадой спросила я.

Судя по тому, как внимательно Р. посмотрел на меня, его, наверное, поразил мой недовольный тон. Официант весьма любезно ответил, что его работа в баре на сегодня окончена и его перевели в ресторан. Я хотела предложить Р. пересесть за столик, обслуживаемый другим официантом, но мне тут же стало ужасно стыдно. Мне было очень совестно за столь неразумный и грубый всплеск эмоций перед Р., который наверняка меня осуждал.

Какое скверное начало ужина. Из-за проклятого официанта весь вечер не задался, напоминая непрерывную полосу невезения при игре в карты. Хотя мы продолжали непринужденно беседовать, нас больше не воодушевляла та необходимая искорка, которую мы неизменно высекали при взаимном общении. Даже еда казалась не такой вкусной, как обычно.

Я успокоилась, когда официант смел салфеткой крошки и принес кофе. Теперь-то мы наконец избавимся от его докучливой, зловещей близости! Но через пару минут он вернулся и, наклонив ко мне омерзительную физиономию, сообщил, что меня ждут в холле.

— Но этого не может быть — вероятно, это ошибка! Никто не знает, что я здесь, — возразила я, но он бесстрастно и упорно твердил, что меня кто-то спрашивает.

Р. посоветовал все же сходить и проверить. Поэтому я вышла в холл, где сидели и стояли несколько человек, дожидаясь своих друзей. С первого же взгляда я поняла, что ни с кем из них не знакома. Официант подвел меня к опрятно, неброско одетому мужчине средних лет с непримечательным округлым лицом и седыми усами. Его можно было принять за управляющего банком или другого добропорядочного гражданина. Кажется, он был лысым. Человек поклонился и поздоровался, обратившись ко мне по имени.

— Откуда вы меня знаете? — в изумлении спросила я. Я была уверена, что никогда не встречалась с ним раньше, но можно ли быть уверенной на все сто? Ведь человека с таким неприметным лицом, сколько ни встречай, все равно не запомнишь.

В ответ он пустился в подробные разъяснения, но говорил так быстро и тихо, что я улавливала лишь отдельные слова, не понимая общего смысла. Совершенно не в силах разобраться, о чем он толкует, я лишь смутно догадалась, что он просит меня куда-то пройти вместе с ним. Внезапно я узнала свой чемодан, стоявший на полу возле его ног.

— Что вы делаете с моими вещами? Как вы ими завладели?.. Служитель ни за что не позволил бы вам

взять их в гардеробной, — сердито сказала я и наклонилась к ручке. Но не успела я дотянуться до нее, как незнакомец с неодобрительной ухмылкой схватил чемодан и вынес его за дверь.

Я пошла следом, негодуя и собираясь потребовать свои вещи обратно, однако на улице нас разлучили пешеходы, и я догнала его, лишь когда он свернул в узкий переулок с припаркованными автомобилями. Мне пришло в голову, что этот человек не в себе: не верилось, что он нарочно украл чемодан — с такой-то респектабельной внешностью!

— Что все это значит? Куда вы несете мои вещи? — спросила я, схватив его за рукав. Мы очутились как раз напротив большого черного лимузина, стоявшего рядом с другими машинами. Мой спутник поставил чемодан на подножку.

— Видимо, вы меня не поняли, — сказал он и теперь впервые заговорил внятно, чтобы я могла расслышать его слова. — Вот моя доверенность. Только из уважения к вам я не стал предъявлять ее внутри — у всех на виду.

Он достал из кармана голубой бланк и протянул мне. Но в перекрестном освещении уличных фонарей и автомобильных фар я успела разобрать лишь пару непонятных юридических фраз и свое собственное имя, украшенное замысловатыми завитушками и росчерками в старомодном стиле, после чего незнакомец поспешно спрятал этот плотный лист бумаги.

Едва я открыла рот, чтобы попросить разрешения изучить документ повнимательнее, как шофер черной машины слез с водительского сиденья и схватил мой чемодан, явно намереваясь поставить его в салоне.

— Это мое — прошу вас, не трогайте! — выкрикнула я и тут же задумалась, что делать, если человек не подчинится моему приказу. Но он тотчас отпустил ручку, словно все это было ему глубоко безразлично, и вернулся на свое сиденье, где, по- видимому, немедля погрузился в чтение вечерней газеты.

Тогда я впервые заметила официальный герб на блестящей черной дверце и увидела, что стекла матовые. Я вдруг ощутила слабую тревогу — не потому, что на секунду задумалась о серьезности положения, а потому, что часто слышала, как трудно выпутаться из нескончаемой, утомительной бюрократической волокиты, стоит лишь немного в ней увязнуть.

Почувствовав, что нельзя терять ни минуты, что нужно объясниться и убежать, пока меня еще сильнее не опутали этой смехотворной сетью непонимания, я обратилась к пожилому человеку, терпеливо стоявшему

рядом. Я спокойно и рассудительно говорила о том, что ни в чем его не обвиняю, но что здесь несомненно произошла ошибка: я вовсе не являюсь той особой, которая указана в документе, — очевидно, имеется в виду какая-то моя однофамилица. Ведь у меня довольно распространенная фамилия, я могла вспомнить навскидку, как минимум, двух человек — киноактрису и новеллистку, носивших такую же. Умолкнув, я с тревогой взглянула на него, стараясь понять, как он воспринял мои доводы.
Мужчина казался потрясенным, пару раз задумчиво кивнул, но так и не ответил. Ободренная его отношением, я решилась на смелый шаг, взяла свой чемодан и быстро зашагала обратно к ресторану. Человек не попытался меня остановить и, насколько можно судить, не преследовал меня, а я обрадовалась, что так легко отделалась. Видимо, когда сталкиваешься с бюрократическим аппаратом, главное — действовать посмелее.

Р. сидел за тем самым столиком, где я его оставила. Настроение у меня поднялось, я повеселела, оживилась и вновь поверила в себя. Усевшись за столик (и на сей раз прихватив вещи с собой), я поведала о недавних странных событиях. Я рассказывала довольно увлекательно, посмеиваясь над этой нелепой историей: мне и вправду казалось, что в моих устах она звучала весьма забавно. Но когда под конец я взглянула на Р., ожидая увидеть его одобрительную улыбку, то с изумлением обнаружила, что он сохранял серьезность. Он не смотрел на меня, а сидел, потупившись, и кофейной ложечкой рисовал на скатерти невидимый узор.

— Разве тебе не кажется смешным, что они могли так ошибиться? — спросила я, желая заставить его усмехнуться.

Тогда он и впрямь взглянул на меня, но с таким непроницаемым и тревожным лицом, что вся моя уверенность и хорошее настроение вмиг улетучились. В ту же секунду я заметила невзрачного официанта, который топтался поблизости, словно подслушивая наш разговор, и кровь застыла в моих жилах от ужаса.

— Почему ты молчишь? — в смятении выкрикнула я, так как Р. не проронил ни слова. — Неужели ты считаешь, что никакой ошибки не было?.. Что им действительно нужна была я?

Мой друг положил ложечку на стол и опустил руку на мою ладонь. Меня убили даже не его слова, а это нежное прикосновение, полное сочувствия и сострадания.

— Знаешь, на твоем месте, — медленно и словно через силу произнес он, — я бы пошел и выяснил, в чем тебя

обвиняют. Ты ведь сможешь без труда удостоверить свою личность, раз действительно произошла ошибка. Если же ты не пойдешь, сложится нехорошее впечатление.

Теперь, когда впереди столько времени, чтобы поразмыслить над произошедшим, я порой задаюсь вопросом, прав ли был Р.? Быть может, лучше отстаивать личную свободу до последнего, даже рискуя уменьшить шансы на благоприятный исход?
Но в тот раз я позволила уговорить себя. Я всегда высоко ценила его мнение и прислушалась. А еще мне показалось, что, если я уклонюсь от решения вопроса, то лишусь уважения Р. Но когда мы вышли в холл и я увидела, что опрятный, неприметный человек по-прежнему безучастно и отрешенно ждет, я задумалась и с тех пор постоянно размышляю над тем, искупает ли хоть чье-либо хорошее мнение все те страдания, которые уже выпали на мою долю и, вероятно, еще предстоят в будущем? Доколе, доколе же это будет продолжаться?

НОЧЬЮ

перев. Д. Волчека

Как медленно тянутся минуты зимней ночью: а часы, между тем, не кажутся столь уж долгими. Вот опять от церкви доносится скучный провинциальный звон, словно оцепеневший от холода. Я лежу в постели и, как опытный узник, давно отбывающий срок, погружаюсь в привычную бессонницу. Это обыденность, слишком хорошо мне знакомая.

Мой тюремщик в комнате со мной, но он не может обвинить меня в бунтарстве или непослушании. Не желая привлекать его внимание, я лежу неподвижно, словно постель — мой гроб. Возможно, если я не пошевелюсь целый час, он позволит мне уснуть.

Разумеется, свет я включить не могу. Комната темна, точно обтянутая черным бархатом коробка, которую кто-то швырнул в замерзший колодец. Все тихо, только порой доносится треск окоченевших костей дома или снег сползает с крыши со звуком, похожим на тайный вздох. Во тьме я открываю глаза. Веки кажутся твердыми, словно слезы сковали их изморозью. Если смогу разглядеть тюремщика, будет не так плохо. Узнать, где он стоит на страже, и уже станет легче. Поначалу мне кажется, что он, точно темная занавесь, возле двери. Потолок взлетает, как крышка коробки, и тюремщик вздымается выше вязов, к ледяным горам луны. Но потом понимаю, что ошиблась: он съежился на полу совсем рядом со мной.

Железный обруч стягивается вокруг моей головы, и тут

тюремщик бьет по холодному металлу, раздается звон, и бесчисленные иголки боли впиваются мне в глазницы. Страж показывает, что мои раздумья ему не нравятся, или просто пытается утвердить свою власть. Как бы то ни было, я поспешно закрываю глаза и лежу недвижно, едва решаясь вздохнуть под одеялом.

Чтобы занять рассудок, повторяю фразы, которым научил меня врач-иностранец, когда я впервые попала под подозрение. Повторяю, что я не жертва бессонницы, а бодрствую только потому, что предпочитаю не спать, а размышлять. Пытаюсь представить себя новорожденной, без будущего, без прошлого. Если сейчас тюремщик заглянет в мой разум, вряд ли он станет возражать против того, что там творится. Лицо голландского врача, худое и суровое, точно у капитана корабля, появляется передо мной. Неожиданно кричит петух: звук фантастический, неземной в этом мире, замкнутом в холодном мраке. Кукареку взмывает тремя пылающими вспышками, в черном поле ночи на миг распускается огненная лилия.

Теперь я почти готова уснуть. Тело застывает, мысли пускаются в слаженный путь. Мои мысли превращаются в пряди водорослей, обесцвеченные, медленно колышущиеся в прозрачной воде.

Левую руку сводит судорога, и опять сон исчезает. Бой церковных часов напоминает о тюремщике. Было пять ударов или четыре? Слишком устала, не знаю наверняка. В любом случае, ночь скоро кончится. Железный обруч у меня на голове стал туже и сполз вниз, так что давит теперь на глазные яблоки. И все же кажется, что боль исходит не от этого безжалостного давления, а откуда-то изнутри черепа, из коры головного мозга: это сам мозг болит.

Неожиданно меня охватывает отчаянье, ярость. Отчего я одна обречена проводить мучительные ночи с невидимым тюремщиком, когда весь мир спокойно спит? По какому закону меня судили и почему без моего ведома приговорили к столь тяжелому наказанию? Я ведь даже не знаю, как и перед кем провинилась. Возникает дикое желание — протестовать, потребовать пересмотра, не подчиняться несправедливости.

Но к кому обращаться, если не знаешь, где отыскать судью? Как надеяться, что докажешь свою невиновность, когда нельзя узнать, в чем тебя обвиняют? Нет, для таких людей, как мы, справедливости нет, нам остается одно: отважно страдать и тем самым посрамить наших мучителей.

НЕПРИЯТНОЕ НАПОМИНАНИЕ

перев. Д. Волчека

Прошлым летом (а, может, это было вчера — мне теперь нелегко следить за временем) со мною случилось нечто весьма неприятное.

День с самого начала предвещал недоброе — один из тех несчастливых дней, когда все идет наперекосяк и кажется, что вступаешь в бесконечную тягостную борьбу с неодушевленными предметами. Каким же зловредным бывает этот бесчеловечный мир в такие минуты! Каждый атом, каждая клетка, каждая молекула вступают в сводящий с ума заговор против бедного существа, навлекшего на себя их скрытое недовольство! На этот раз, как назло, сама погода решила примкнуть к раздору.
Небо было затянуто тусклой серой пеленой, горы стали иссиня-черными, полчища комаров заполонили берега озера. Был один из тех бессолнечных летних дней, что наводят тоску больше, чем самая мрачная зимняя погода, дней, когда воздух кажется затхлым, а мир похож на мусорный ящик, набитый расплющенными консервными банками, рыбьей чешуей и разлагающимися кочерыжками.

Конечно, с самого утра я ничего не успевала. Пришлось впопыхах переодеваться, чтобы пойти на теннис: мы договорились днем поиграть, и я опаздывала на десять минут. Другие игроки уже собрались и разминались, ожидая меня. Меня огорчило, что из трех кортов, которыми мы могли пользоваться, выбрали средний — я его недолюбливала. Я спросила, почему не взяли верхний, самый лучший, и оказалось, что он уже был забронирован какими-то важными людьми. Я предложила перейти на нижний корт, но мне недовольно сказали, что там слишком сыро из-за нависающих деревьев. Поскольку было пасмурно, я не могла выдвинуть главное возражение против среднего корта — что днем там бьет в глаза солнце. Пришлось начать игру.

Следующим неприятным обстоятельством оказалось то, что по каким-то причинам моего обычного партнера, Дэвида Поста, заменили неким Мюллером, которого я едва знала. Он оказался неважным игроком. Проигрывать он тоже не умел: когда стало ясно, что наши противники сильнее, он потерял всякий интерес к игре и стал вести себя совсем не по-спортивному. Он постоянно отвлекался на людей, которые останавливались посмотреть на нас, улыбался им, уделял зевакам гораздо больше внимания, чем самой игре. Порой, когда остальные собирали мячи или я принимала подачу, он отходил к дороге и смотрел на машины, словно ожидая приезда знакомых. Под конец вообще стало невозможно удержать его на корте, он постоянно уходил, и приходилось кричать и подзывать

его. Продолжать такую игру было бесполезно, и, закончив первый сет, мы по всеобщему согласию разошлись.

Нетрудно представить, что, вернувшись в свою комнату, я была не в лучшем настроении. Меня все раздражало; кроме того, я вспотела, устала и больше всего хотела как можно скорее принять ванну и переодеться. Так то я вовсе не обрадовалась, когда обнаружила, что меня ожидает совершенно незнакомый человек, которого придется выслушать.

Это была молодая женщина, примерно моего возраста, с привлекательными, хотя и жесткими чертами, тщательно одетая: желтоватый льняной костюм, белые туфли и шляпка с пером. Говорила она правильно, но с легким акцентом, который было трудно определить; чуть позже я пришла к выводу, что она из колоний.

Стараясь быть вежливой, я предложила ей сесть и спросила, что ее привело ко мне. Она отказалась от стула и, вместо того, чтобы дать ясный ответ, заговорила уклончиво, упомянула ракетку, которую я все еще держала в руке, и стала расспрашивать о струнах. Было довольно нелепо в моем состоянии втягиваться в спор с незнакомой женщиной о достоинствах различных моделей ракеток и — боюсь, довольно резко — я оборвала разговор и в упор спросила, чего она от меня хочет.

Она посмотрела на меня очень странно и совсем другим тоном произнесла: «Мне жаль, что приходится передать вам это», и я увидела, что она протягивает коробочку — самую обычную маленькую, круглую черную коробочку с таблетками, обычную коробочку из аптеки. Я тут же испугалась и рада была бы вернуться к разговору о ракетках. Но вернуться было нельзя.

Теперь уже не знаю, сказала мне это она или я сама поняла, что приговор, которого я так долго ждала, вынесен, и это уже конец. Помню — только это и помню — чувство легкого огорчения от того, что приговор передали мне таким затрапезным, неярким способом, точно это самое обычное дело. Я открыла коробочку и увидела четыре белые таблетки.

— Прямо сейчас? — спросила я. Я поняла, что смотрю на посетительницу по- новому — вижу в ней официального посланца, слова которого имеют роковое значение.

Она молча кивнула. Возникла пауза.

— Чем скорее, тем лучше, — сказала она.

Я чувствовала, что капельки пота, все еще остававшиеся после игры, стали холодными как лед.

— Но мне нужно сперва принять ванну! — возмущенно закричала я, вцепившись в липкий воротничок своей тенниски. — Я не могу оставаться в таком виде — это неприлично… недостойно!

Она сказала, что это будет позволено, как особое одолжение.

Я обреченно вошла в ванную и отвернула краны. Не помню, как я принимала ванну: должно быть, мылась и вытиралась механически, а потом надела розоватое шелковое платье с голубым кушаком. Возможно, я даже причесалась и напудрила лицо. Помню только черную коробочку, которая все время бросала мне вызов с полки над раковиной.

Наконец я заставила себя открыть ее, таблетки оказались на ладони, и я поднесла их ко рту. И тут возникло на редкость нелепое препятствие — в ванной не оказалось стакана. Должно быть, он разбился, или горничная унесла его и позабыла вернуть. Что было делать? Без воды я не могла проглотить даже такие маленькие таблетки, но и откладывать было нельзя. В отчаянии я наполнила водой мыльницу и как-то смогла их запить. Я так торопилась, что не смыла склизкий слой на дне, и от привкуса меня чуть не стошнило. Несколько минут я стояла, вцепившись в край раковины, борясь с тошнотой и задыхаясь. Потом села на табуретку. Я ждала, а мое сердце колотилось, точно молот в горле. Я ждала, но ничего не случилось, вообще ничего. Меня не клонило в сон, я не чувствовала слабости.

Только когда я вернулась в соседнюю комнату и увидела, что моя посетительница ушла, я поняла, что вся эта история была жестокой шуткой — просто напоминанием о том, что меня ожидает.

МЕХАНИЗМЫ В ГОЛОВЕ

перев. Д. Волчека

Какой-то ничтожный, далекий шум; звук, в сущности не имеющий отношения ко мне, обращать на него внимание у меня нет ни малейшей нужды, и все же он умудрился меня разбудить, и не ласково, а дико, безжалостно, ошеломляюще, точно сигнал воздушной тревоги. Часы пробили семь. Возможно, я спала час, быть может — два. Пробужденная столь грубым образом, я подскакиваю как раз вовремя, чтобы разглядеть, как исчезает шлейф сна, точно темный шарф, который зловредно уволакивают прочь: он скользнул возле ножек кровати и мгновенно пропал под закрытой дверью. Бесполезно, нет никакого смысла

бежать за ним: я теперь великолепно проснулась или, вернее сказать, проснулась ужасно; шестерни, мои повелители, уже дрожат от зарождающегося движения, весь механизм готов начать монотонное, ненавистное функционирование, безвольной рабыней которого являюсь я.

— Остановись! Обожди… еще слишком рано… дай мне чуть отдохнуть! — кричу я, хотя знаю, что все напрасно. — Дай мне немножко поспать… час… полчаса… только об этом прошу.

Но какой смысл взывать к бесчувственным механизмам? Шестерни крутятся, моторы медленно набирают ход, доносится все тот же низкий гул. Я превосходно знаю каждый звук, каждое содрогание трудного старта. Наверное, худшее в этом- тошнотворная обыденность, одновременно невыносимая и неизбежная, точно болезнь, проникшая в кровь. Этим утром она доводит меня до взрыва, до безумия, я хочу биться головой о стены, пробить голову пулями, разнести механизмы в кашу, в порошок вместе с самим черепом.

— Это ужасно несправедливо! — слышу я свой призыв к чему, к кому, одному небу это известно. — Невозможно работать столько часов и почти не спать. Ведает ли кто-нибудь, тревожится ли, что я погибаю среди этих рычагов и шестеренок?
Может ли кто-то меня спасти? Я ничего дурного не сделала… я совсем больна — едва могу открыть глаза…

И в самом деле голова болит невыносимо, и я чувствую, что вот-вот свалюсь.

Внезапно замечаю, что свет, который так режет глаза, исходит от солнца. Да, снаружи действительно сияет солнце, вместо снега — роса на траве, крокусы вспыхнули ясными огоньками под кустами роз. Зима прошла; наступила весна. Озадаченно спешу к окну и выглядываю. Что случилось? Я обескуражена, сбита с толку. Возможно ли, что я по-прежнему обитаю в мире, где светит солнце и весной появляются цветы? Думала, что меня выслали из него давным-давно. Тру измученные глаза: да, это солнце, грачи шумят у своих гнезд на старых вязах, и теперь я слышу дивные песни маленьких птичек. Но пока я стою у окна, все эти счастливые вещи начинают съеживаться, становятся призрачными, прозрачными, точно ткань сновидения, и их замещают жуткие механические очертания шкивов, колес, осей, а методичное, безжалостное, слишком хорошо знакомое движение все настойчивей требует моего внимания.

На заднем плане я еще, напрягая зрение, могу различить, точно исчезающий мираж, залитую солнцем траву и синеву небосвода, по которому летит далекой

параболой зеленый силуэт, тень призрачного изумрудного кинжала.

— Остановись, постой! Дай мне еще минуту — одну минуту посмотреть на зеленого дятла! — умоляю я, а тем временем мои руки с автоматическим послушанием начинают выполнять свою отвратительную задачу.

Но разве машине есть дело до зеленого дятла? Колеса крутятся быстрее, поршни мягко скользят в своих цилиндрах, шум механизмов заполняет весь мир. Давно погруженная в рабское подчинение, я по-прежнему черпаю силы из какого-то безжалостного источника, чтобы продолжать свой труд, хотя едва способна стоять на ногах.

В полированном металле мне удается разглядеть свое отражение: бледное, измученное лицо, глаза глядят в никуда, испуганные, затравленные, одинокие в кошмарном мире. Порой — не знаю отчего — я думаю о своем детстве; помню, как была школьницей, сидела за тяжелой деревянной партой, а потом маленькой девочкой с густыми, белокурыми, растрепанными ветром волосами — кормила лебедей в пруду. И мне кажется удивительным и печальным, что мои юные годы прошли в подготовке к тому, что, всеми позабытая, измученная, я поневоле обслуживаю машины тут, столь далеко от солнечного света.

I

Картина в точности напоминает сцену, на которой вот-вот начнут играть легкомысленную комедию, что-нибудь беззаботное, веселое. На заднем плане видна часть первого этажа особняка, двери справа и слева выходят на широкую галерею, где расставлены столы и стулья. Перед ними — лестница, узкие каменные ступени ведут в сад. Крышу галереи поддерживают массивные колонны светлого камня. За крайними колоннами с обоих концов видны стены дома, заросшие вьющимися побегами — ворох ярко-оранжевых и багряных цветов. Несколько пышных цветков-трубок ветром унесло на ступени, где они лежат, словно разбросанные под ноги свадебной процессии. Передний план — в театре он был бы зрительным залом — включает в себя огромную панораму: убегающая вниз земля, пейзаж с озером в отдалении и горами позади. Весь этот вид залит слепящим летним солнцем.

Поначалу картина безлюдна. Стайка голубей дважды облетает вокруг, мелькая крыльями, и исчезает в синеве неба.

Распахивается дверь на правой оконечности галереи, взгляду открывается сборище людей. Это хорошо одетые

мужчины и женщины разных возрастов: одни стоят, другие группами сидят за столами. Они только что пообедали. Кто-то курит, кто-то держит кофейную чашку. Самое поразительное здесь — молчание. Лишь несколько человек беседуют между собой; у остальных вид отсутствующий или такой, будто они приостановлены, будто ждут, когда им скажут, что делать. Вскоре они начинают медленно перемещаться по галерее и один за другим исчезают в дверях слева. Видно, как их направляет туда седовласая женщина — судя по всему, обладающая некой властью. Она устраивает группу из четырех человек за крайним столом слева и вручает им колоду карт; один сдает в небрежной манере.

Самое удобное кресло посередине галереи занимает крупный мужчина в черном костюме. Около сорока, лысоват, лицо круглое, красное, жизнерадостное. Развернув газету, он начинает читать. Он чем-то — трудно сказать, чем именно — отличается от недавно прошедших мимо людей. Возможно, дело попросту в том, что он не подчиняется седовласой женщине. Профессор — вот его роль.

Спустя минуту-другую дверь слева открывается, и входят еще три персонажа; вид у них несколько скрытный — создается явное впечатление, что они ускользнули из-под чужой власти. При виде профессора, которого они не ожидали тут застать, их охватывает замешательство, но он улыбается им поверх газеты и снисходительным взмахом подзывает ближе. Они с облегчением проходят вперед, минуя картежников, поглядывающих на них с легким любопытством, и рассаживаются на верхнем уступе галереи, прямо напротив профессора.

Здесь они некоторое время сидят, не разговаривая, всматриваясь в слепящее полыхание сквозь темные очки. Центральная фигура этого трио — молодая особа с соломенными волосами, нарядно одетая, в бледно-розовом. Справа от нее — молодой человек с заостренными ушами и полузадумчивым, полузлодейским лицом фавна. Мужчина по другую руку от нее постарше, у него грустное еврейское лицо. Между всеми тремя заметно любопытное сходство, и объясняется оно не только тем, что каждый из них строен, элегантен и носит черные очки.

Картежники, один раз вяло полюбопытствовав, больше не проявляют интереса к тому, что происходит вокруг, и продолжают игру, как во сне, сдавая и принимая карты жестами автоматическими, словно их руки — стрелки часов. Профессор шелестит страницей газеты. Трое на ступенях сидят неподвижно, обретая какое-то невыразимое успокоение в близости друг к другу и в недолговечном ощущении побега.

Внезапно со стороны озера подлетает стая голубей, кружит перед галереей, мелькая яркими крыльями. И в то же мгновение, словно придя в чувство, как от удара, при виде этих бьющихся крыльев, трое поднимаются со ступеней, одновременно издавая единый скорбный крик.

Теперь яснее ясного видно, в чем заключается их общее, жуткое сходство. То, что представлялось элегантной стройностью, оказывается истощением, сквозь одежды пугающе выпирают тазобедренные кости, скулы того и гляди прорвут неподатливую плоть.

Длинные, костлявые, тонкие, как спички, конечности с увеличенными суставными шарнирами рывком переходят в полное, не оставляющее надежд подчинение к профессору — тот, подобно улыбающемуся кукловоду, берет управление в свои руки. А из-под трех пар черных очков появляются огромные слезы, скатываются по раскрашенным марионеточным щекам и медленно падают на каменный уступ.

II

У меня был друг, любовник. Или мне это приснилось? Нынче меня окружает такая толпа снов, что едва удается отличить подлинные от ненастоящих: сны, подобные свету, заточенному в пещерах, где сияют минералы; сны жаркие, тяжелые; сны ледникового периода; сны, подобные механизмам в голове. Я лежу между голой стеной и лекарством в крохотном стаканчике с горьким осадком на дне и пытаюсь вспомнить свой сон.

Вижу, как иду рука об руку с другим, с человеком, чьи сердце и разум вросли в мои. Мы ходили вместе по многим дорогам, в солнечном свете среди древних олив, по холмам, окропленным, словно из фонтанов, пением жаворонков, по дорожкам, где с прохладных листьев падали дождевые капли. Нас связывали безоговорочное понимание и нерушимый покой. Прежде одинокая и ущербная, тут я нашла себя. Наши мысли бежали рядом, словно гончие, не уступающие друг дружке в резвости. В единении наших мыслей была гармония, подобная музыке.

Помню трактир в какой-то южной стране. В нашей жизни возникла драма, с тех пор давно забытая. Помню лишь черные всполохи кипарисов на ветру, небо, твердое, как голубая тарелка, и собственную уверенность, спокойную, непоколебимую, абсолютно твердую. «Что бы ни случилось, все — пустяки, пока мы вместе. Мы ни при каких обстоятельствах не подведем друг друга, не раним друг друга, не причиним друг другу зла».

Как описать медленное и печальное охлаждение сердца? В какой день становится впервые заметна бесконечно малая трещина, что, в конце концов, превращается в бездну глубже ада?

Годы, словно ступени лестницы, ведущей все ниже и ниже, остались позади. Я больше не ходила в солнечном свете, не слышала песен жаворонков, подобно хрустальным фонтанам игравших на фоне неба. Ничья рука не накрывала мою в теплом любовном пожатии. Мысли мои снова были одиноки, разрознены, лишены гармонии; музыка смолкла. Я жила одна, занимала несколько удобных комнат, чувствуя, как моя жизнь бесцельно вытекает, час за тягомотным часом, — жизнь старой девы вытекала из кончиков моих пальцев. Я расставляла по вазам цветы.

И все-таки время от времени я видела его, спутника, чьи сердце и мозг некогда словно объединились с моими. Я видела его, не видя его, такого же и все же не такого. И все равно не могла поверить, что все потеряно, надежды на спасение нет. И все равно верила, что придет день, мир изменит цвет, занавес будет сорван и все сделается, как было когда-то.

Но теперь я одиноко лежу в постели. Я слаба и ничего не понимаю. Мышцы мне не подчиняются, мысли движутся хаотично, словно загнанные в угол зверьки. Я забыта, потеряна.

Это он привел меня сюда. Он взял меня за руку. Я чуть было не услышала, как рвется занавес. Впервые за много месяцев мы были вместе, окруженные покоем.

Потом мне сказали, что он ушел. Я долго не верила в это. Но время идет, а от него никаких вестей. Дальше обманывать себя я не могу. Он ушел, покинул меня и не вернется. Я навсегда одна в этой комнате, где всю ночь горит свет и обученные лица незнакомцев, лишенные тепла и жалости, бросают на меня взгляды в полуоткрытую дверь. Между стеной и горьким лекарством в стакане я жду, я жду. Чего я жду? Окно забрано чугунной решеткой; дом заперт, хотя дверь моей комнаты открыта. Свет наблюдает за мной всю ночь беспристрастным взором. В ночи раздаются странные звуки. Я жду, я жду — наверное, снов, что нынче подходят ко мне так близко.

У меня был друг, любовник. Это мне приснилось.

III

Ханс выходит из лифта и пересекает вестибюль клиники. Оказавшись у стоящей на столике большой вазы с гладиолусами цвета розовой семги, он вспоминает, что оставил дверь лифта открытой. Он возвращается и очень аккуратно закрывает ее, потом

снова медленно пересекает широкий вестибюль. Это невысокий, худощавый человек, довольно молодой, с заостренными ушами и черными волосами, растущими мысом у него на лбу. Его карие глаза, по замыслу природы добрые и шаловливые, теперь глядят печально. На его лице скрытая озабоченность, она проявляется даже в нерешительной поступи его сияющих черных ботинок. Одет он в щеголеватый, пусть не слишком уместный здесь, черный городской костюм.

Женщина в белой форме за конторкой у главного входа желает ему доброго утра. Он отвечает машинально, не видя ее. У двери он несколько секунд мешкает — ему трудно пройти, хотя дверь открыта. Наконец ему удается преодолеть скованность, и он выходит наружу. На лестнице он снова мешкает, не в состоянии решить, в каком направлении двинуться.

Ослепительно сияет солнце. Перед ним — похожая на парк местность, поросшая травой, там и сям разбросаны купы деревьев, попадаются одинокие стройные секвойи. Вокруг никого не видно. Одиннадцать часов, и все пациенты, кому позволяет здоровье, работают в мастерских или на участках приусадебного парка.

Ханс нервно озирается. Это входит и в его распорядок дня — работать в этот час в мастерских. Еще несколько дней назад кто-нибудь наверняка пришел бы выяснить причины его отсутствия — теперь же к нему никто не подходит; кажется, никому нет дела до того, как он проводит время. Это представляется ему до крайности зловещим признаком. «Должно быть, брат написал им, что ему больше не по карману меня тут содержать. Скоро меня выставят из клиники — и что со мною станется?»

Он вздыхает и достает из кармана смятое письмо, которое носит с собой несколько дней. Присланное его братом из Центральной Европы, оно не содержит ничего, кроме плохих новостей о фабрике, от которой зависит состояние их семейства: забастовки, безработица, подорожание сырья. Вся деревня тоже зависит от фабрики; вся деревня бедствует.

Ханс снова глубоко вздыхает и кладет письмо обратно в карман, не развернув. Он вынимает черные очки и надевает их, прячась от яркого света дня, который вселяет в него смутные тревоги.

Внезапно он меняется в лице. К нему приближается на велосипеде девушка лет двадцати. Это преподавательница гимнастики, с которой Ханс еще несколько дней назад позволял себе удовольствие слегка флиртовать. Теперь он слишком озабочен, чтобы думать о флирте, но все-таки автоматически восхищается прелестным золотым загаром,

покрывающим ее голые руки и ноги. На руль ее велосипеда наброшен черный купальник.

«Вот бы она позвала меня с собой плавать!» — думает он, и на лице его появляется улыбка нетерпеливого ожидания. Не то чтобы ему на самом деле хотелось плавать в озере — больше всего в этот момент он мечтает о смехе, общении, дружеском голосе.

Вот девушка поравнялась с ним; ее густые, кудрявые волосы развеваются на солнце, словно руно. Хрустит гравий, шины подбрасывают мелкие частички песка; приветствие, вспыхнувшие зубы, шум колес. Уехала.

Минуту Ханс стоит, наблюдая за удаляющейся фигурой преподавательницы гимнастики. Улыбка медленно гаснет на его лице, и он отправляется дальше. Шагая без цели, ноги несут его в направлении мастерских. На пути ему попадается огород, где работают несколько пациентов. Двое в синих комбинезонах тяпками рыхлят ссохшуюся землю рядом с дорожкой, по которой он идет. Человек поблизости, похожий на садовника, на самом деле — медбрат, присматривающий за ними. Ханс останавливается понаблюдать за работающими, те не отвечают на его взгляд. Земля запеклась досуха, им приходится трудно, по лицам струится пот. Двое мужчин не разговаривают друг с другом, да и вид их довольным не назовешь; и все-таки Ханс, которому претит тяжелый труд, им завидует: они — часть установленного порядка жизни учреждения, в которой сам он теперь чувствует себя посторонним. Он бредет дальше, мимо другого человека, который собирает ежевику. Ежевичные кусты пустили по натянутой проволоке, и пациент стоит к Хансу спиной, сосредоточившись на своей щепетильной задаче, аккуратно выбирая ягоды и складывая их в корзину. Ханс был бы не прочь поговорить с ним, но безразличное лицо человека прогоняет это желание, и он молча шагает дальше, рассеянно глядя на дорожку.

Мысли его возвращаются в обычное невеселое русло: денежные проблемы, слабое здоровье, нестабильность положения. Он снова теребит письмо в кармане. Да, дела несчастной старой фабрики определенно плохи — возможно, долго она не протянет. Каким ударом это было бы для отца! Хорошо, что старик не дожил до этих страшных времен. Но что же собственное предприятие Ханса, небольшое частное дело, которое он создал своим трудом? Он в сотый раз пытается придумать какое-нибудь объяснение столь долгому молчанию своего партнера. Тот не пишет уже больше месяца. «Может, он болен? Не хитрит ли он со мной? Или он все-таки писал, а они скрывают от меня письма, желая оградить от новых плохих вестей?
Непременно надо поехать и выяснить, что происходит. Сейчас же поехать; завтра же. Если откладывать,

может оказаться поздно». Но мысль о том, чтобы отправиться в долгое путешествие на поезде в одиночку, разговаривать с незнакомыми людьми и сосредотачиваться на деловых вопросах, слишком тяжела для бедного Ханса. «Я не могу. Какой от этого прок? Чего от меня можно ждать в таком состоянии? Я болен: не могу спать, не могу есть, не могу принимать решения. Я даже думать как следует больше не могу…» Жестом отчаяния он проводит рукой по своим темным волосам, на миг снимает очки и тут же, ослепленный, поспешно снова надевает их.

Вот и мастерские. Изнутри доносится шум работы. В плотницкой кто-то стучит молотком. В другом помещении тонко гудит, словно оса, какой-то механизм. Двери различных мастерских выходят на веранду, расположенную несколькими ступеньками выше, чем дорожка, по которой шагает Ханс, но, поднимая глаза, в окнах и дверях он видит людей. С некоторыми он обменивается кивками. Они заняты переплетными работами, кожевенными, изготовлением корзин. На веранду выходит управляющий мастерскими пожелать Хансу доброго дня. Он держится так, будто это в порядке вещей — то, что Ханс прогуливается тут, когда все остальные обитатели клиники трудятся, не покладая рук. Такое отношение со стороны надзирателя подтверждает худшие страхи молодого человека, и он тотчас уходит.

У последней открытой двери сидит в одиночестве девушка, занятая эскизом на мольберте. Она дружелюбно окликает его: «Здравствуйте, Ханс!»

Остановившись, он прислоняется к каменной стене веранды. Ему хотелось бы посмотреть, что она рисует, но на то, чтобы подняться по ступенькам, потребовалось бы слишком много усилий, и он остается стоять, тоскливо глядя на нее.

– Почему вы всегда ходите в этом темном костюме? — спрашивает она. — Вам, наверное, жарко, у вас такой несчастный вид — как будто собрались на похороны или на какую-нибудь скучную деловую встречу.

– Видите ли, дело вот в чем, — начинает он объяснять, ощупывая камень, теплый под его ладонями, — я все никак не могу решить, что надеть. Раньше я каждое утро, начиная одеваться, обычно выкладывал все свои костюмы рядком, и у меня уходило, наверное, полчаса, а то и дольше на то, чтобы решиться. То же самое происходило и с туфлями, с галстуками — просто ужасно. Вы представить себе не можете, как я нервничал из-за этой чепухи. И вот наконец я придумал такой план, чтобы не надо было делать выбор. Надеваю каждый день один и тот же костюм, и дело с концом. Вот этот я надел, когда нас возили в

Женеву, на тот концерт; так и хожу в нем с тех пор.

Девушка больше ничего не говорит. Она не видит отчаяния на его лице. Может, ей все равно; может, как раз в этот момент она поглощена картиной; а может, просто погрузилась в мечтания.

Ханс отходит. Внезапно его охватывает зависть, горечь. «Она здорова — по крайней мере, не так больна, как я. И все-таки может оставаться тут, сколько захочет, меня же через день-другой выгонят, бросят на произвол судьбы».

До этого момента он бесцельно волочил ноги, но тут, приняв решение, переходит на быстрый шаг. Он пошлет партнеру новую телеграмму и на этот раз составит ее так, чтобы непременно добиться ответа. Он выходит на проселочную дорогу, ведущую к деревне. Ходить тут ему не положено, но какая разница? Он и прежде часто так поступал, да и вообще, нынче никому, похоже, нет дела до того, чем он занимается.

Скоро он подходит к улице, где стоят невзрачные, довольно убогие дома с закрытыми от жары ставнями. Большинство жилищ построены так, что образуют единое целое с хлевом или конюшней. Перед одним из них огромная куча навоза, на солнце от нее медленно поднимается пар. Невыносимый запах навоза, жара, быстрая ходьба — от этого сочетания Ханса на несколько секунд охватывает головокружение. Он стоит неподвижно, склонив голову, и смотрит на свои туфли, успевшие побелеть от пыли, словно у бродяги. Неловкими пальцами расстегивает пиджак. На глаза ему попадается едва заметная прореха спереди на рубашке. «Да ведь я хожу в лохмотьях — в настоящих лохмотьях! Дальше мне дорога в канаву», — бормочет он себе под нос с неким удивлением, кротко, обиженно.

Вот он на почте. Взяв себя в руки, он заходит внутрь. В пустом помещении стоит затхлый запах высохших чернил, перед самым окном, в загоне из проволочной сетки, заросшей вьюнком, поклевывают землю какие-то жалкие, тощие куры. Ханс с неприязнью рассматривает обстановку, успевшую ему примелькаться. Выходит почтальон. Это немолодой, пузатый крестьянин с седеющими волосами. Ханс аккуратно, обдумывая каждое слово, выводит свое послание и протягивает телеграфный бланк через прилавок.

После ухода молодого человека почтальон некоторое время стоит, прижимая телеграмму к огромному животу, и наблюдает за дверью, словно ожидая, что отправитель вернется. Потом он принимается методически рвать бланк на мелкие кусочки, пока от него не остается лишь горстка бумажек, которые он небрежно выбрасывает в открытое окно. Куры с

жадными глазами подбегают на сильных, чешуйчатых ногах, накидываются на обрывки. Немедленно обнаружив, что бумажки несъедобны, они с отвращением бросают их и снова принимаются безо всякого проку клевать твердую землю.

IV

В кабинете главврача стоят пожилой мужчина с женой. Муж — крупный, высокий человек, начинающий слегка горбиться. У него серьезное, важное лицо, седые усы и мешки под глазами. В петлице он носит узкую красную ленточку. Он весьма представителен для своего возраста и явно привык к главенствующей роли. Жена его, напротив, выглядит невзрачной и безвольной. Сразу делается ясно, что с самого первого дня их брака она подчинялась мужу, а до того — родителям.

Жаркий летний полдень. Беседа окончена. Главврач поднимается из-за стола. Он того же роста, что и посетитель, но хорош собой, строен и в самом расцвете сил, у него густые, волнистые волосы, весьма длинные, с едва пробивающейся сединой. Одет он в прекрасный серебристо-серый костюм и коричнево-белые туфли. Кабинет большой, с высоким потолком, обставлен дорогой мебелью, но довольно темный, створчатые окна задернуты шторами. В воздухе стоит ощутимый аромат одеколона, исходящий от врача. Чувствуется, что целью было создать атмосферу слегка таинственную, способную производить впечатление на посетителей.
Помещение украшают цветы и несколько больших, туманно-аллегорических картин.

Пара медленно направляется к двери. Жена расстроена, мешкает. Она хочет что-то сказать, но робеет: ее смущают атмосфера кабинета и врач, который напоминает ей киноактера. Наконец ей удается выдавить вопрос.

— Доктор, прошу вас, нельзя ли мне повидаться с ней перед уходом, всего на минуту? Мы ведь приехали издалека, а я ее уже так давно не видела…

Голос у нее, как и следовало ожидать, робкий и неуверенный. Бедная пожилая дама утомлена дорогой, она стоит, сжимая в руках свою бесформенную сумочку и глядя на главврача умоляющими глазами, готовая расплакаться.

— Уважаемая сударыня, это было бы величайшей ошибкой. Это расстроит вашу дочь и может вызвать рецидив. Чрезвычайно сожалею, но интересы пациента следует ставить превыше всего, не так ли? Уверяю вас, что она прижилась тут самым наилучшим образом, я весьма доволен ее прогрессом, и отчеты от

моих коллег о ней тоже поступают превосходные. Можете доверить ее нам без малейшей тревоги. Она хорошо себя чувствует, счастлива и на удивление органично вошла в жизнь нашего коллектива.

Образованный голос ласкает ухо, как шелк, но мать почти не слышит последних слов. Она понимает одно: ей не разрешат повидаться с ее ребенком, находящимся так близко, возможно, даже на расстоянии оклика, упрятанным за всеми этими невидимыми преградами медицинской власти и дисциплины. Глаза ее застилает пелена, она уже толком не видит, куда идет; но это не имеет значения — муж берет ее под руку и твердо выводит за дверь.

— Мы во всем должны руководствоваться советами доктора, — говорит он. Тут она слышит, как он отказывается от приглашения пообедать в частном доме главврача: — Благодарю сердечно; нет. Мы как раз успеем на экспресс из Лозанны.

Дрожа, она идет по начищенному коридору, опираясь на неумолимую руку супруга. Служителя в белом халате, который их провожает, она не видит. Она чувствует себя очень старой, ей холодно, несмотря на жару. Теперь впереди у нее лишь тяжелое, изнурительное путешествие на поезде обратно, в пустой дом.

Избавившись от пожилой пары, главврач испытывает облегчение. Он успел вполне примириться с мыслью о том, что они пожалуют к нему обедать. Дождавшись, пока до него перестанет доноситься шум увозящей их машины, он тут же открывает дверь в сад и выходит на солнце. Его дом недалеко, на берегу озера. Когда он идет туда, каждый встречный останавливается поприветствовать его, полюбоваться видным, умным, преуспевающим, жизнерадостным врачом, его элегантной, атлетической походкой. Тем временем мадемуазель Зели в своей комнате собирается на обед. Это пухлая, тяжеловесная с виду девушка двадцати с небольшим лет, напоминающая скорее невероятно растолстевшего ребенка. Тело ее кажется неповоротливым, как у малыша, а в лице присутствует детская простота с примесью лукавства. Цвет лица бледный, нездоровый, волосам не помешал бы шампунь. В целом вид у нее довольно неряшливый: чулки гармошкой, сзади между белой льняной юбкой и блузкой в горошек зияет просвет. Приставленная к ней медсестра, сидящая у окна за каким-то вышиванием, внезапно кидает на нее взгляд, вскакивает и нетерпеливо поправляет на ней одежду.

— Вы что это, мадемуазель, сами за собой следить не можете? — говорит она ворчливым тоном. — Я вас только в порядок приведу, как тут же опять все

насмарку. Да и волосы тоже — вы их еще не причесали. А руки — руки вы помыли перед обедом? Дайте-ка я посмотрю; ну конечно, нет. А ну-ка, давайте, как следует поскребите щеткой, а то ногти совсем черные.

И она слегка подталкивает девушку к умывальнику.

Зели послушно включает кран. Пока в раковину бежит вода, она с неприязнью взглядывает на свою компаньонку. Это новая сиделка — сиделки у нее никогда не задерживаются. «Ну что она ко мне пристала? — думает девушка. — Все время со мной кто-нибудь из этих глупых созданий, и днем, и ночью… постоянно несут какую-то чепуху… да и кто они такие — деревенщина, не понимают ничего; это невыносимо. Только бы мама приехала… Только бы ей рассказать… Она бы такого не допустила».

Стоя перед умывальником и держа руки в воде, девушка совсем позабыла, что ей положено делать. Подходит медсестра с выражением человека, сдерживающего законное раздражение, выпускает воду, дает ей полотенце и быстро, ловко приводит в порядок ее волосы.

— Вот так; а теперь нам надо поторапливаться. Гонг уже был — вы разве не слышали?

Зели с радостью входит в столовую — она любит поесть. Однако сегодня удовольствие ей портит то обстоятельство, что ее прибор поставили рядом с молодым итальянцем, который ей неприятен. Садясь между ним и своей сиделкой, она кидает подозрительный взгляд вбок на всклокоченного, узкоглазого юношу, который дразнит ее своими злобными проделками.

Сегодня он как будто собирается оставить ее в покое. Он не говорит вообще ничего, пока не съедено и не убрано первое блюдо. Потом, как только официанты начинают приглушенно постукивать чистыми тарелками, он наклоняется к ней и шепчет в ухо:

— И как нынче поживают ваши мама с папой, мадемуазель?

— Мои мама с папой? Их тут не было. — Она бросает на него пустой, но недоверчивый взгляд своих тусклых глаз.

— Как же, как же — они были тут сегодня утром. Я стоял в коридоре, когда они выходили из кабинета доктора. Он как раз прощался с ними. Я их видел и вполне отчетливо слышал фамилию.

Кажется, будто молодой итальянец поглощен едой, но на самом деле он — весь внимание, держит ухо востро.

Зели кладет в рот кусочек телятины с тарелки. Внезапно до нее доходит смысл того, что ей только что сообщили; ее озаряет: так вот в чем значение этих слов. Она роняет нож и вилку. «Мама была здесь… и уехала… не повидавшись со мной!»

Она сидит с той стороны стола, что ближе всего к двойным дверям. Двери почти за самым ее стулом. Все, что требуется, — встать и сделать два-три шага, и вот она уже за порогом. На миг все замирает в подвешенном состоянии. Официанты стоят наготове со своими тарелками. Не было ни шума, ни суматохи; секунду никто как будто не осознает, что произошло. Затем сиделка поднимается и идет за девушкой. Там и сям в зале поднимаются и другие, тоже выходят. Молодой итальянец низко склоняется над тарелкой. Рот его набит едой, челюсти серьезно жуют. Но уголки глаз морщатся от злорадства — он доволен.

Зели бежит через холл к кабинету врача. Входная дверь клиники открыта нараспашку, и ее преследователи, естественно, решат, что она вышла этим путем. Она направляется в кабинет не с тем, чтобы от них ускользнуть, а просто потому, что там итальянец, по его словам, видел ее мать. Теперь комната, разумеется, пуста; однако дверь в сад по-прежнему открыта после ухода доктора, и Зели проходит туда. Вот она на поросшем травой откосе, ведущем вниз, к сосновому лесу. Она бежит по крутому откосу, двигаясь неуклюже, спотыкаясь в туфлях на высоких каблуках, которые ей не по ноге. В лесу бежать ей все так же трудно: сосновые иглы скользкие, а предательские корни то и дело ставят подножки. Она не в форме и скоро теряет силы. Дыхание ее разносится по тихому лесу болезненными всхлипами, сердце стучит громко и непрерывно, как водопад, ее лицо, по которому рассыпались пряди волос, лоснится от пота, одна туфля потерялась, одежда в полном беспорядке. Она не понимает, зачем бежит и куда. Одно слово — «Мама! Мама!» — раздается криком у нее в голове.

Внезапно она резко останавливается. Граница территории обозначена проволочным забором, высоким — двенадцать футов — и достаточно крепким, чтобы удержать в неволе стадо диких животных. Зели бежит, ослепнув до такой степени, что не замечает забора и врезается в него. Ее руки бьются о мелкую сетку, нескладное тело, покачнувшись, падает наземь. Рухнув, она лежит на сосновых иглах под безучастными деревьями. Камерная гармония леса, которую нарушило ее неуклюжее вторжение, медленно восстанавливается. Над головой у нее раздается воркование лесного голубя. Этот тихий летний звук, который в детстве всегда напоминал ей мамину швейную машинку, становится последней каплей — вынести его Зели уже не в состоянии. С разрывающимся сердцем она

пригоршнями захватывает острые сосновые иглы, втыкающиеся в ее кожу, а сквозь ее толстые губы, перемазанные слюной и помадой, выходит безутешный вопль, который вскоре выводит ее преследователей в нужном направлении.

V

Еще совсем рано, самое начало восьмого, прекрасное летнее утро. Небо бледно- голубое, безоблачное, покойное и нежное, словно огромная арка — источник не благоговейного страха, но доброты и заботы. Тихое озеро переливается, на вид почти твердое, словно по нему можно ходить. Горы прячут свои строгие лица за тонкими покрывалами тумана. На первом склоне холма над озером стоит главное здание клиники, омытое чистым солнечным светом: великолепный особняк, балконы опоясаны цветами, фасад украшает галерея с колоннами. Везде покой, порядок и надежность. На лугу, растянувшемся по крутому откосу над дорогой, уже трудятся работники с косами, движения их ритмичны, коричневые голые торсы поблескивают, как у статуй. Подъехавший из города по шоссе автомобиль плавно выписывает петли, взбираясь по частной дороге к клинике. Он останавливается перед главным входом, находящимся в тени, с той стороны здания, что смотрит не на озеро. Здесь новый день выглядит чуть менее приятным; возможно, причиной тому — темная, широкая тень, отбрасываемая зданием, и огромные черные деревья, сурово указывающие в направлении, противоположном миру.

Из машины выходят мужчина и молодая женщина. Они провели в дороге всю ночь. Мужчине около сорока, он недурен собой, с тяжеловатой внешностью римского императора, моложав для своих лет, несмотря на то, что лицо его небрито и выглядит изможденным. Он производит неявное, почти неуловимое впечатление человека неискреннего, внешне дружелюбного и любезного, внутренне же сухого, поглощенного собой. Это крупный мужчина, вид у него несколько встрепанный после долгой дороги. Женщина, несколькими годами моложе его, находится в состоянии едва ли не обморочном; ей требуется помощь, чтобы подняться по ступеням, ведущим в здание клиники. Тем не менее, ей удалось сохранить вполне нормальный вид. Ее зеленое платье в полном порядке, светлые волосы гладко причесаны, на лице пудра, на губах помада; вероятно, инстинктивное желание следить за подобными вещами не покинет ее до последнего вздоха. Она не разговаривает, не осматривается, лишь позволяет ввести себя в комнату, выходящую на озеро, залитую солнцем, с большой, наполненной львиным зевом вазой на круглом столике. Тут она опускается на диван. Зрачки ее расширены, она видит перед собой

одну лишь размытую яркость, причиняющую боль, и едва ли осознает, что происходит вокруг. Мужчина садится в кресло рядом с ней, нервно барабанит по столу толстыми пальцами. Никто не произносит ни слова.

Девушка в белой форме вносит поднос с кофе. Свежая и привлекательная, она бросает любопытные взгляды на измученных дорогой путешественников, особенно на женщину, которая, кажется, вот-вот потеряет сознание и упадет с дивана на пол. Служительница заговаривает с ней, наливает чашку кофе и подкладывает ей под голову подушку. Та колоссальным усилием заставляет себя вернуться к жизни настолько, чтобы пробормотать какое-то еле слышное замечание, прикрывая глаза рукой. Медсестра подходит к окну и тихонько закрывает ставни; потом выходит, бросив последний взгляд за спину. Теперь в комнате остается лишь зеленая, подводная полутьма с прожилками яркого света. Не прерывая молчания, мужчина как-то мрачно, настороженно, рассеянно глотает горячий кофе, время от времени устремляя на свою спутницу взгляд, полный автоматической тревоги, на деле скрывающей презрение. Другая чашка кофе медленно дымится, нетронутая, на столике.

Через несколько минут в комнату входит главврач. Несмотря на ранний час, он выглядит безупречно, его привлекательная фигура источает энергичную, жизнеутверждающую деловитость. Он пожимает руку посетителю, который поднимается ему навстречу и тут же, поздоровавшись, снова тяжело опускается в кресло. Затем доктор подходит к светловолосой женщине и берет ее вялую руку в свою. Мужчины обмениваются приветствиями. Незнакомец кратко обрисовывает медицинские подробности, уже знакомые врачу из письма. Крупный мужчина говорит прерывисто, словно заставляет себя обсуждать подсознательно невыносимую ситуацию. Нередко он не заканчивает предложение, создается впечатление, что настоящие его мысли блуждают, он страстно желает оказаться в стороне от всех этих дел. Доктор, хотя и слушает с вежливым вниманием, понимает, что от собеседника, не способного или не желающего принять на себя ответственность, ничего существенного не добиться, и постоянно посматривает на безмолвную женщину в другом углу комнаты. Наконец он обращается к ней:

— Итак, мадам, вам хочется побыть в моей клинике?

Она, казалось, не обращавшая на разговор внимания, неожиданно реагирует на прямой вопрос. Ее глаза широко раскрываются, лицо искажается, как будто она собирается заплакать или даже нанести удар, будь у нее воля. Она выпрямляется на диване, сжимает руки и отвечает голосом, в котором звучит неожиданная сила:

— Нет, я вовсе этого не хотела. Меня привезли сюда против моей воли. Она не в состоянии скрыть глубокой враждебности в голосе.

Последняя — результат истерии или полного душевного истощения, возможно, отчаяния — направлена на ее собственный невроз и на всю цепь событий, случившихся прежде; не на человека, с улыбкой разговаривающего с ней сейчас. Он же, поскольку они — выходцы из разных стран, не знакомы, а кроме того, принадлежат к совершенно чуждым друг другу этническим группам, — он слегка обижен, слегка недоволен. Тем не менее, он продолжает улыбаться, не меняя ровного тона:

— Может быть, все-таки отдохнете здесь несколько минут? Нам с мсье нужно обсудить пару вопросов.

Предоставленная самой себе, молодая женщина впадает в состояние полной неподвижности, ее светлые волосы разбросаны по коричневой подушке. Она не шевелится; может показаться, что она почти не дышит; лишь изредка, с большими перерывами, ее накрашенные губы издают долгий, прерывистый вздох, а серые глаза, отрешенные, ни на чем не сосредоточенные, широко раскрываются и вглядываются в мило обставленную комнату, подобно глазам человека потерянного, человека, потерявшего память или неизвестно как попавшего в плен в чужой стране.

Мужчины отсутствуют довольно долго, по меньшей мере полчаса, но она этого не замечает. Оставайся.они там целое утро, ей было бы все равно — ее восприятие времени разрушено лекарствами и усталостью. Она не спит, но и не бодрствует по- настоящему. Смутные фантазии, по большей части неприятные, осаждают ее полудремлющий мозг.

Наконец крупный мужчина возвращается с медсестрой. Доктор просит передать, что его вызывают, однако он навестит новую пациентку этим же утром. Поддерживаемая двумя спутниками, молодая женщина медленно пересекает широкий коридор. В здании уже появились признаки жизни. Несколько пациентов в сопровождении служащего возвращаются из гимнастического зала. Кое-кто из них с любопытством посматривает на светловолосую жертву, которой вскоре предстоит войти в их общество; та на их взгляды не отвечает — скорее всего, не видит их. Мужчина, ведущий ее, испытывает явную неловкость, хмурится и кусает ногти, ища поддержки в разговоре со спокойной, деловитой сестрой в белой форме.

Вот и палата. Медсестра уходит на поиски багажа.

Другая женщина, последние силы которой истощены недавним усилием, оседает на край постели; она едва ли полуприсутствует здесь — лишь своего рода механический мазохизм удерживает ее в вертикальном положении. Ее спутник, сам не зная почему, раздражается при виде этой позы.

— Почему бы тебе не прилечь поудобнее? — спрашивает он, подавляя неприязнь и не повышая голоса.

Она не отвечает, однако что-то — возможно, вид белых облаков, которые, подобно мальчикам-хористам, подобно серафимам, упорядоченной процессией движутся теперь по небу, — заставляет ее взять его за руку.

— Теперь мне станет лучше... Все будет хорошо, правда? — бессвязно говорит она, прося у него заверения, которого он не в силах ей дать.

Он неловко ерзает, насупившись, кусая ногти свободной руки.

— Да... конечно... тебе станет лучше...

Он хочет лишь одного: освободиться, уйти — куда угодно, вырваться из этого положения, столь невыносимого для его легкомысленной натуры. Но тут он вдруг наклоняется и целует ее в щеку. От удивления она выходит из транса, она тронута, благодарна, воодушевлена; на секунду она чувствует себя почти прежней. Даже сейчас, в последний момент, она может все спасти; она сделает шаг, и они вместе выйдут на солнце. Она начинает говорить, подниматься, но он высвобождается и идет к двери.

— Ты уходишь? — спрашивает она, разочарованная. Он что-то бормочет, глядя в сторону. — Но ты ведь скоро вернешься?

— Да, конечно. Когда ты ляжешь в постель.

Он выходит из комнаты. Она сидит на краю постели, оцепеневшая, почти безжизненная; краткое оживление, пройдя, оставляет за собой еще большую пустоту.

Внезапно она слышит, как на улице заводится автомобиль. С места, где она сидит, через окно, забранное железными завитками, ей виден кусок подъездной дорожки, по которой начинает двигаться машина. Глаза ее узнают автомобиль, в котором они приехали из города, но мозг не делает никаких выводов. Внезапно на черном сиденьи она видит сопровождавшего ее мужчину. Но и теперь единственные ее чувства — замешательство, остолбенение. Что это значит? Почему он в машине? Его чемодан лежит на сиденьи сбоку от него, и по

какой-то причине вид этого чемодана, который она сама подарила ему много лет назад, убедительно говорит ей правду.

«Он бросает меня здесь. Он уезжает… Не сказав мне… Ни единого слова. Когда он поцеловал меня, это и было прощание».

Какой-то последний запас нервной энергии помогает ей добежать до двери. «Мне надо к нему… надо его остановить… разве он может вот так меня бросить!» — выкрикивает она, обращаясь к пустой комнате. Дверь заперта снаружи. Она поворачивает ручку и стучит по стеклянной панели. Стекло небьющееся — железный брус, и тот его лишь поцарапал бы. Но она все равно продолжает слабо стучать обеими руками, а слезы бегут по ее перекошенному лицу.

Проходящий по коридору служитель в изумлении бросает взгляд на это содрогающееся лицо, на дикие, потерянные, истекающие глаза, а после торопливо уходит на поиски кого-нибудь, кто обладает властью.

VI

Раннее утро в палате заграничной клиники. В пустой комнате царит неуловимая атмосфера заброшенности, присущая месту, только что покинутому всегдашним его обитателем. Дверь в коридор стоит открытой, на столике у кровати — поднос с остатками завтрака. Комната довольно большая, с паркетным полом и светлой деревянной мебелью гармоничных пропорций; хотя роскошной обстановку не назовешь, она безусловно удобна и приятна. Тем не менее, в ней есть нечто слегка странное, слегка беспокоящее. Источник этого впечатления трудно определить: возможно, тут играет свою роль то обстоятельство, что нигде нет ни единого крючка, все поверхности голые и гладкие, а электрическая лампочка затянута проволочной сеткой. Большое окно тоже забрано чугунной решеткой, которая, несмотря на свой орнаментальный характер, почему-то наводит на мысли о некоем практическом назначении. Сейчас в комнате прохладно, даже холодно, несмотря на середину лета. За окном висит горный туман, густой, белый.

Молодая крестьянская девушка в форме торопливо входит в комнату, уносит поднос для завтрака, затем возвращается с охапкой принадлежностей для уборки. Ей лет девятнадцать-двадцать, она крупная, грубоватая, довольно костлявая, с некрасивым большеносым лицом и каштановыми волосами, зачесанными со лба назад. Все ее движения неуклюжи, но полны силы. Она опускается на колени, выскребает из жестянки пригоршню какого-то густого, похожего на жир вещества и принимается энергично начищать

половицы. Работая, она тихонько напевает себе под нос длинную, немелодичную народную песню. Она всю жизнь трудилась не покладая рук, она полна неукротимой энергии, ей приятно видеть, как гладкое дерево сияет под ее тряпкой, будто вода, — она счастлива.

Вскоре пол начищен, словно для бала, однако нужно еще убрать постель, заняться мебелью. Она моет руки в раковине и, вытерев их о предназначенную для этого тряпицу, приводит в порядок постель; затем подходит к туалетному столику вытереть пыль, с независливым любопытством глядя на декоративные коробочки с пудрой и кремом, на духи в тонком флаконе.

Девушку застает за работой обитательница комнаты, вернувшаяся из ванной. Она лет на десять постарше крестьянки, полная противоположность той во всех отношениях; эти двое могут служить образчиками абсолютно непохожих друг на друга порождений общества. Вновь пришедшая чрезвычайно стройна, на замысловатый манер ухожена. Ее длинные, мягко завивающиеся, тяжелые светлые волосы, ее широкий халат цвета цикламена, волочащийся по полу, придают ей отчасти романтический вид; это впечатление не разрушают ни ее несчастные глаза, ни лицо, на котором — напускная твердость, безразличие, не способные скрыть отчаяния.

Сказав доброе утро, она небрежно роняет на постель губку, мыло, ароматическую эссенцию, которые только что принесла из ванной, и подходит к окну, где стоит, неотрывно глядя на туман, скрывающий все за унылой, непроницаемой, бесцветной пеленой. Крестьянская девушка поспешно собирает вещи с постели и аккуратно расставляет их по местам. Заканчивая работу, она все время бросает взгляды на другую женщину, которая стоит, не глядя на нее, до того неподвижно, словно пребывает в ином мире. Элегантный халат цвета цикламена наполняет смотрящую восхищением.

«Как замечательно, должно быть, носить такое платье, — простосердечно думает служанка. — Она похожа на ангела с этими волосами, распущенными, такими яркими», — тут девушка с неким удивлением прикасается к собственной тусклой голове.

– Комната готова, — говорит она чуть позже на плохом французском, который дается ей с трудом.

Женщина у окна не отвечает, даже не шелохнется. Возможно, не поняла, возможно, не слышала.

Другая выносит свои швабры, тряпки, мастику и складывает все в коридоре. Потом возвращается и секунду-другую стоит в комнате, мешкая без дела. Она

знает, что ей пора за работу, надо торопиться в следующую комнату, натирать пол там, а не терять время зря; и все же она почему-то не в состоянии уйти, не дождавшись хоть какого-нибудь ответа от неподвижной фигуры, вцепившейся в завитки железной решетки.

– Не надо там стоять, мадам, — говорит она неловко, — мадам простудится; дайте я закрою окно.

Пройдя по комнате, она в самом деле тянется к стеклу, задев при этом рукав другой. Физическое прикосновение развеивает забытье старшей женщины, та поворачивает голову. Служанка с испугом видит, что глаза ее переполняют слезы, которые медленно, никак не скрываемые, сбегают по щекам.

– О, мадам... — заикается девушка, — что вы?.. Не плачьте...

Едва понимая, что делает, она ослабляет сжатые, холодные пальцы, застывшие от долгого соприкосновения с металлической решеткой, и отводит светловолосую женщину от окна. Та вяло подчиняется, как ребенок, без слов, — чувство слишком бурное или слишком болезненное, которое мучает ее слишком долго, словно лишило ее всяких жизненных сил. Она могла бы сойти за механическую фигуру, если бы не слезы, которые продолжают литься беззвучным дождем, оставляя темные пятна там, куда падают, на лиловатом шелке. Внезапно она спотыкается, запутавшись в полах длинного халата, и едва не падает, но сильные молодые руки поддерживают ее и усаживают на край постели. Этой жалкой потери достоинства, увиденной в человеке до того отстраненном, до того идеальном, крестьянская девушка, и без того расчувствовавшаяся при виде этих необъяснимых слез, уже не может вынести.

Забыв про разное социальное положение, забыв, что за ними могут наблюдать, забыв даже про свою работу, она обнимает это несчастное существо, как обняла бы плачущего ребенка в своей родной деревне, бормоча что-то неразборчивое, успокаивающее. Другая, так долго остававшаяся непреклонной, встречая равных себе презрительным, бесстрастным лицом, может позволить себе немного расслабиться, зажатая в этих грубоватых тисках. Она словно обрела утешение в недочеловеческом сочувствии, в немой ласке любящей собаки.

– Почему вы так участливы ко мне?.. Что вы говорите? Что это за язык? — спрашивает она через какое-то время, невнятно, из своего нереального мира.

– Это ретороманский, мадам; я родом из Гризона, —

отвечает девушка по- французски. Мгновение ускользает, она уже начинает ощущать зачатки легкой неловкости, приходя в себя. И все же она не расцепляет рук, охватывающих тонкие плечи. — Не плачьте, — говорит она снова. — Не надо быть такой несчастной. Здесь не так уж плохо… А скоро вы уедете — обратно к себе домой. Представьте себе, что это — короткие каникулы.

– Мне страшно… я совсем одна… и так далеко от всего, — отвечает другая шепотом, чувствуя вкус слез на губах. Она по-прежнему будто пребывает во сне, не осознает неуместности создавшегося положения.

Горничная, прекрасно понимающая, что такое ностальгия, роется в мыслях, пытаясь отыскать какое-нибудь утешение.

– Но ведь здесь так комфортно, мадам! — восклицает она, — а еда какая!.. Вчера я вам принесла на обед спаржу, а сегодня будет клубника — я знаю, сама видела, как люди ее собирали. И поглядите — туман рассеивается! Скоро солнце засияет.

Как раз в этот момент она слышит, как кто-то в коридоре окликает ее по имени; это одна из девушек-работниц, которую послали выяснить, почему ее напарница этим утром так долго возится с комнатами.

– Да, да… сию минуту… иду! — кричит горничная.

Она тут же выпрямляется; но затем нагибается и, подчиняясь импульсу, влепляет в мокрую щеку теплый крестьянский поцелуй, а потом неуклюже выбегает из комнаты и исчезает в коридоре.

Другая продолжает сидеть недвижно. Слезы ее почти перестали капать; и вот, впервые за много дней, на лице появляется с трудом зарождающаяся улыбка.

VII

Очаровательный дом, построенный в восемнадцатом веке, стоит у самого озера. По сути, это небольшой замок с башенками, придающими ему вид изысканный, легкомысленный, нарядный — вполне подходящий для любовницы некоего выдающегося персонажа, чьей резиденцией он и был первоначально. Здание содержится в прекрасном состоянии, цветущая магнолия умело пущена по фасаду и подрезана, все свидетельствует о знающем толк, заботливом хозяине. Лишь очень чуткий наблюдатель заметил бы тут едва уловимую атмосферу, отличающую место не столько заброшенное, сколько лишенное чего-то, какого-то штриха личной привязанности, словно ребенок, воспитанный в хорошо организованном учреждении, а не дома. В окна, широко открытые навстречу жаркому летнему дню, видно, что комнаты отличаются не поддающейся определению безликостью.

На лужайке между домом и озером несколько человек пьют чай. Они группами сидят вокруг столов, расставленных в тени лип и высоких акаций. Среди них — две или три женщины, по виду выполняющие роль хозяек, поддерживающие беседу, которая то и дело обрывается и даже под их стимулирующим воздействием носит характер до странности обрывочный.

Марсель — объект внимания своей группы. Он уже несколько минут ведет себя общительно: разговорчив, приятен, весел, улыбка легко появляется и сходит с его широкого, подвижного рта. Бдительная хозяйка с одобрением смотрит на этого молодого человека в белом фланелевом костюме напротив нее, который так хорошо развлекает компанию за столом. Внезапно он замечает ее признательный взгляд, улыбка его меняется, теряет весьма располагающую к себе спонтанность и становится циничной, сардонической.

«Что ж, — думает он, — хватит с меня, побыл хорошим мальчиком, теперь очередь других».

Он смотрит на часы, поднимается, вежливо извинившись, и берет ракетку, лежащую на траве возле его стула. Ему пора идти играть в теннис.

Корт, где он должен играть, находится выше по холму, рядом с главным зданием клиники, которой принадлежит все это поместье. Размахивая ракеткой, Марсель легким шагом обходит элегантный небольшой замок, нынешние постояльцы которого столь разительно отличаются от его прежней хозяйки. Теперь, когда оживление сошло с его лица, становится заметно, что он не так молод, как казалось за столом во время чаепития: ему, по меньшей мере, тридцать —

возможно, и больше. В его темных волосах по бокам уже появились следы седины, выражение глаз слегка напряженное, блеск их слегка нервозный.

Оставшись в одиночестве по ту сторону от замка, он постепенно замедляет шаг, пока наконец не останавливается совсем. Удары часов на башенке напоминают пятерку вялых птиц, парящих в теплом воздухе. Ему следует торопиться, чтобы не опоздать к началу партии. Он знает, что ему надо быстро идти вверх по холму, но вместо того стоит неподвижно, ссутулив плечи, ракетка болтается в его руке. Он переживает спад после недавней вспышки общительности и жизнерадостности.
Его лицо затуманено одновременно сарказмом и печалью, он чувствует себя одиноким, обиженным, подавленным. Остаток дня простирается перед ним унылой, полной скуки панорамой, словно нудная газета, которую он уже много раз перечел. Он с неприязнью, с раздражением думает о теннисе и о своей партнерше, рыжеволосой американской девушке, которая дуется всякий раз, когда они проигрывают. Она уже наверняка ждет его там, на корте, и злится, потому что он опаздывает на пять минут.

«Спутать им все планы! С какой стати я должен играть, если мне неохота?» — бормочет он про себя. И внезапно поворачивается спиной к дорожке, ведущей вверх по холму, и снова шагает вниз, к озеру, на этот раз огибая замок с противоположной стороны, так что выходит на другую часть лужайки поодаль от групп, пьющих чай за столами. Идет он быстро, но бесцельно, просто выражает таким образом инстинктивный бунт против скучного тенниса, ненавистной американской девушки.

Низкая стена, граничащая с озером, заставляет его резко остановиться. Он застывает в нерешительности, ему досадно, он не знает, что делать дальше. В конце концов садится на теплую каменную стену, свесив ноги над водой. Заросли кустов скрывают его от людей вдалеке; кажется, никто не замечает его присутствия. Это вызывает в нем ощущение покинутости, вовсе не приятное его натуре, однако сейчас он, тем не менее, черпает в нем некое мазохистское удовлетворение. Несколько секунд он праздно вглядывается в неглубокую толщу воды, прозрачной, почти недвижной, где деловито перемещаются стайки крохотных рыбешек. Вода чистая, но с виду кажется тепловатой, застоявшейся — на каменном дне озера скопились неаппетитные отбросы. По мелководью к прибрежным камням движется, извиваясь в воде, черный, тонкий силуэт, похожий на уменьшенного угря, — это пиявка. Марсель, подавив возглас отвращения, отворачивается.

Взгляд его падает на весельную лодку в нескольких ярдах от него. Обычно лодка прикована к железному

кольцу в стене, но сейчас она лишь некрепко привязана свернутым в узел канатом. Он смутно припоминает, что видел, как преподавательница гимнастики снимала висячий замок, пока он сидел за чаем. Возможно, кто-то из пациентов собирается покататься. Что ж, это его так же мало интересует, как и теннис. Он поднимает глаза — широко раскрытые, яркие, беспокойные — и видит прямо перед собой, за гладью воды, французский берег, горы и холмы пониже, увенчанные бесчисленными тополями.

В тот же миг в его мозгу проносится новая череда мыслей. «Мне уже давно пора домой. Я должен вернуться к работе, иначе потеряю все свои связи. Судебный адвокат не может себе позволить так долго находиться в отпуске, даже если у него богатая жена...» Он пытается сообразить, сколько месяцев провел в клинике, но подсчет ему почему-то не дается, и эта неспособность сосредоточиться на простом вопросе, связанном с датами, усиливает его общее расстройство. «В этом проклятом месте все дни похожи... Тут совершенно теряешь счет времени», — сердито думает он. И дальше: «Почему они меня тут держат? Я вполне хорошо себя чувствую; да у меня никогда и не было серьезных неполадок. Я перетрудился; мне попросту требовался отдых. Теперь я в превосходной форме, а они все равно держат меня тут... заставляют болтаться без дела, терять время». Он хмурится, вспоминая о врачах, об уклончивых ответах, которыми они встречают его предложения назначить день отъезда. «Ну конечно, у них одна забота — деньги; все они, как стая акул, пытаются выжать из нас что только можно».

Вот перед его мысленным взором встает образ жены, красивой молодой женщины, довольно пухлой, прекрасно одетой: черное платье, жемчуг на шее; это она платит за его пребывание в клинике. Жестокое подозрение, часто возникающее у него в голове, заставляет его схватить камень и со злобой швырнуть его в озеро, от чего напуганные рыбешки прерывают свое безостановочное плавание. «Нет, это просто невозможно — подобная порочность, подобная нечистоплотность, это ужасно.
Нельзя давать волю воображению».

И все-таки он не в состоянии и дальше тихонько сидеть на стене: он вскакивает, в беспокойстве делает несколько шагов к лодке и стоит над ней, постукивая ногой по железному кольцу, к которому привязан канат.

«Если бы только знать наверняка, что происходит дома. Если бы я только мог вернуться», — говорит он себе, впервые признаваясь в душе, что его отъезду мешает некое препятствие. Затем его охватывают фантазии о том, как он покинет это место: он представляет себе, как пакует чемоданы, как поднимается к главврачу и требует свои деньги, свой паспорт, как заказывает купе

в парижском поезде. «Да, я так и сделаю», — говорит он вслух, дважды, сперва с энтузиазмом, потом со слабеющей убежденностью. Но никаких действий, чтобы привести в исполнение свой план, он не предпринимает — что-то, в чем он не может, не смеет себе признаться, не дает ему это сделать.

Вместо того он начинает с ностальгией думать о своей прежней жизни, о городских развлечениях, о своей работе, о друзьях, которые так рады будут увидеть его снова. Он смотрит на ту сторону озера, на горы Савойи, своей родины; ему кажется, будто от исполнения желаний его отделяет лишь эта ничтожная полоска воды, на вид такая гладкая и твердая, словно по ней можно ходить.

В голову ему приходит внезапная мысль; забавно наблюдать быструю перемену в его лице, которое тотчас становится озорным, хитрым. Он бросает взгляд на людей, сидящих на расстоянии, которое с лихвой превосходит ширину замка. Они изнурены жарким днем, так что кажется, будто ни единая душа не сдвинулась с места, никто не обращает на него внимания. Он нагибается и поспешными движениями развязывает узел каната, затем прыгает в лодку и торопливо отчаливает. Несколько сильных гребков — и он уже обогнул небольшой выступ, приусадебный парк скрылся из виду. Улыбаясь, с выражением лица едва ли не плутовским, он продолжает грести мощными, размеренными взмахами.

Скоро он далеко от берега, один в лодке посреди открытого пространства, практически бесцветной водной глади. По озеру разбросано около полудюжины других суденышек. Они далеко от него, однако он рад их присутствию, которое означает, что его собственная лодка будет менее заметна с берега. Ни ветерка, палит солнце, воздух подрагивает от жары. По лицу Марселя катится пот, но ему все равно; по-прежнему улыбаясь плутовской улыбкой, он вытирает пот с глаз и гребет дальше. Его голые, загорелые, мускулистые руки движутся в неутомимом ритме. Этот человек, у которого не нашлось сил на партию в теннис, теперь с радостью налегает на весла в слепящем водяном блеске, черпая удовлетворение в собственной силе.

Озеро шире, чем он ожидал, но через не слишком долгое время французский берег ощутимо приближается, он начинает различать окна домов, потом — фигуры людей, потом — собак и кур, расхаживающих вокруг. Он гребет параллельно берегу, проходит небольшое расстояние в поисках уединенного места для высадки; ему приходит в голову, что разумнее будет не сходить на берег в деревне, где могут тут же начаться расспросы. План действий у него пока не сложился. До сих пор он был целиком поглощен

физическими усилиями и душевным подъемом, который вызвало в нем собственное предприятие.

Вот он нашел подходящее место для высадки, берег, изогнутый, как миниатюрная бухта, скрытый из виду, вдали от жилищ, над ним круто поднимаются зеленые, поросшие травой склоны. Он подводит лодку к самому берегу, но выйти не пытается. Он сидит, не двигаясь, весла волочатся по воде, пот медленно высыхает на его лице, на котором уже начинает проступать нерешительность. Почему он медлит? Все, что надо сделать, — вывести лодку на сушу, выскочить и вскарабкаться по откосу, попасть в свои края. Верно, у него нет паспорта, а в карманах лишь несколько монет мелкого достоинства; но все-таки он будет свободен, в безопасности, среди соотечественников. Ему нужно лишь объяснить свое положение кому-нибудь, кто обладает властью, и все будет надлежащим образом устроено: ему дадут позвонить по телефону в Париж, ссудят деньги на железнодорожный билет, утром он будет дома.

Да, все кажется таким простым, и тем не менее он не может заставить себя выбраться на сушу. Что же мешает ему шагнуть на берег? Что же подсказывает ему: надежнее не думать, надежнее пребывать в неясности, ничего не осознавать? Смутно, через дымку нереальности, ему рисуются жандармы, вопросы, многозначительные взгляды. Но все это далеко, туманно, все это можно отсрочить. Куда лучше об этом не думать, куда лучше не проверять ничего на деле, куда лучше не рисковать, чтобы помимо воли не пришло осознание.

Вся насмешливость, переменчивость сошли с его лица вместе с улыбкой. Теперь он выглядит гораздо старше, утомленнее, подавленнее. Он сильно устал. Медленно, измученно, с глубоким вздохом, опустив погасший взор, он берется за весла и начинает тяжелую переправу обратно, на тот берег.

VIII

В клинике, как в раю, имеется множество обиталищ. Самые тяжелые пациенты и те, что требуют наибольшего присмотра, разместились в доме под названием «La Pinede», который стоит поодаль от главного здания. Окна этого дома защищены металлическими завитками, в нем есть только одна внешняя дверь, которую всегда держат запертой. Тут постоянно дежурит служитель, чтобы снимать засов и снова запирать дверь всякий раз, когда в нее кто-нибудь проходит.

Служитель сидит в белой и пустой, словно келья монахини, комнатушке у самой двери, слева. Этим

утром тут дежурит совсем юная девушка. Вид у девушки в неимоверно чистой форме сияющий и привлекательный; на столе, за которым она сидит с английской грамматикой, блокнотом и карандашом, — букет цветов. Она трудолюбива, намерена далеко пойти в жизни, книгу она изучает сосредоточенно. Тем не менее, у нее находится время изредка поглядывать на букетик диких цикламенов, собранных ею вчера в лесу вместе с молодым человеком, к которому она неравнодушна. Она — воплощение нормальности, жизнерадостности, спокойствия. Трудно представить, что эта довольная жизнью девушка имеет какое- либо отношение к скрытой атмосфере несчастья, окружающей ее под этой крышей.

Заслышав приближающиеся шаги, она выходит в прихожую.

У двери ждет, пока ей откроют, англичанка средних лет. Она довольно высокая, довольно крупная, на ней сиреневое вязаное платье, облегающее массивную фигуру. Выцветшие волосы охватывает лента из коричневого тюля, странным образом придающая ей вид внушительный и слегка комичный одновременно. Она выглядит чрезвычайно респектабельной, чрезвычайно сдержанной особой, что весьма характерно для определенного старомодного типа англичан за границей. Такую ожидаешь встретить в пансионе в Ментоне, где она в своем номере готовит чай над спиртовкой, а возможно, пишет аккуратные маленькие акварельки, насыщенные ультрамарином. Сегодня день у нее выдался хороший. В ее внешности нет ни малейшего намека на приступы суицидальной депрессии, которая и является причиной ее пребывания в «La Pinede».

— Доброе утро, мисс Свонсон, — говорит улыбающаяся служительница на тщательном английском, отпирая дверь.

Мисс Свонсон отвечает, отстраненно улыбаясь, и выходит на солнце. После теней в помещении яркий свет подобен удару, и она останавливается надеть темные очки, которые носит в сумке. Перед нею, посередине заасфальтированной частной дороги, круглая клумба, засаженная мясистыми на вид каннами; позади, справа и слева, раскинулся сосняк, от которого происходит название дома. Поправив очки, мисс Свонсон раскрывает тряпичный зонтик с зеленой подкладкой и медленно, держась середины, идет вдоль дороги, ведущей и к главному зданию, и к мастерской, куда она направляется.

По пути ей с некоторого расстояния открывается вид на то, что происходит впереди. Из здания с белыми балконами время от времени, с нерегулярными

промежутками, поодиночке или маленькими группами появляются люди и шагают к мастерской. Все они по дороге останавливаются на несколько секунд рядом с маленькой, одинокой девичьей фигуркой под купой деревьев; у далекой девушки в веселом летнем платье, кажется, есть какие-то новости, которые она сообщает каждому по очереди.

Женщина с зонтиком внимательно наблюдает за этой процедурой, щуря глаза за темными стеклами. Это сужение глаз, видимо, является свидетельством тревоги или неодобрения — возможно, того и другого. Она ускоряет шаг.

Вскоре женщина подходит достаточно близко, чтобы можно было заговорить с девушкой, которая, оставшись одна, полусидит на железном столе под деревьями. Она до того тонкокостна и тщедушна, с такими неразвитыми с виду формами, что на первый взгляд ее можно принять за ребенка лет пятнадцати. Трудно поверить, что на самом деле она — замужняя женщина, даже услышав, как она обращается к своей подруге:

— Мой муж приехал! Он сейчас у врачей. Как только закончит с ними, возьмет меня на целый день погулять. — Она вскакивает и порывисто хватает мисс Свонсон за руку, отбрасывая назад мягкие, пушистые волосы и восклицая: — Я же вам говорила, что он приедет! Вы мне не верили, а теперь, видите: я все время была права!

Она склоняет голову набок и довольно бессмысленно смеется, посматривая вверх на женщину постарше; та, в свою очередь, серьезно опускает глаза, вглядываясь в миловидное, ребяческое, непослушное лицо, которому как будто недостает согласованности: срезанный подбородок, большие, слегка выпуклые голубые глаза.

— Как мило, Фрида, — говорит она уклончиво.

Равнодушный тон вызывает у ее собеседницы разочарование; она надувает губы и нетерпеливо отходит на несколько шагов, так что между ними образуется пространство.

— Вы, кажется, нисколько не рады, —

обиженно жалуется она. Мисс Свонсон,

шагнув вперед, треплет ее по плечу.

— Господи, какая ты худая, девочка! — бормочет она про себя, нащупав кости под несоразмерными покровами шелка и плоти. Ее нереализованный материнский инстинкт сосредоточился на этой девушке, ее соотечественнице, которая, подобно ей самой, живет в этом несчастном месте изгнанницей,

едва ли не пленницей. Она испытывает к Фриде собственнические чувства, желание защитить; она ревнует ко всякому, кто мог бы встать между ними. — Конечно, я рада, раз ты счастлива, — продолжает она. — Я только боюсь, что ты… что потом тебе будет хуже… когда твой муж уедет, ты будешь чувствовать себя еще более одинокой, чем прежде.

— А он и не собирается уезжать! — победоносно восклицает Фрида. — Он собирается остановиться в отеле у озера.

— Все равно, когда-нибудь ему придется вернуться в Англию.

— Тогда он возьмет меня с собой… я сумею его убедить… вот увидите. Я же теперь совсем здорова.

Ребяческое лицо вовсю улыбается, и у мисс Свонсон не хватает духу удержаться от улыбки в ответ. Однако она ничего не говорит, да и случай избавляет ее от такой необходимости — в этот самый момент на ступенях клиники появляется мистер Рашвуд. Он намного старше жены — возможно, больше чем вдвое; совершенно невозможно представить себе, как она могла за него выйти, настолько у него серьезное, подавляющее, едва ли не суровое лицо, увенчанное седыми волосами. Он скованно приближается в солнечном свете, походка у него прямо-таки деревянная — результат старого военного ранения в правую ногу. Фрида знакомит его со своей подругой, в ответ он улыбается, как директор школы, без теплоты. Да и голос его — голос учителя или духовника, властный и холодный.

— Ну, что говорят врачи? Рассказали они тебе, какой я была паинькой? — спрашивает Фрида, цепляясь за его руку и не сводя с него сияющего взгляда.

Он же, не отвечая на вопрос, советует ей сходить за шляпкой и сумочкой, поскольку машина придет с минуты на минуту.

Она убегает, словно послушный ребенок, и старшие остаются вдвоем в тени деревьев. Оба молчат. Мистер Рашвуд скованно стоит у стола, вид у него непроницаемый. Он занят своими мыслями; к тому же, несколько смущен оттого, что остался наедине с этой незнакомкой, которая, хоть и выглядит вполне прилично, в любой момент способна на какую-нибудь неприятную выходку. Мисс Свонсон изучает его глазами, спрятанными за темными линзами, взгляд ее весьма проницателен, несмотря ни на что. Вид его, кажется, не внушает ей доверия.
Наконец она раскрывает зонтик, который сложила во время разговора с Фридой, и двигается прочь. Но тут внезапный импульс из тех, что столь редко возникают в

ее скупом на эмоции стародевичьем сердце, заставляет ее повернуть назад и обратиться к этому непреклонному мужчине.

— Мистер Рашвуд, позвольте мне сказать одну вещь, которой я, по сути, не имею права говорить. Вы вполне можете указать мне на то, что будущее вашей жены меня не касается, и на это я отвечу лишь одно: только самая искренняя привязанность к ней побуждает меня вмешиваться в дела, не имеющие ко мне отношения. В течение последних нескольких недель я весьма близко познакомилась с Фридой, она доверилась мне, и я понимаю ее натуру. Возможно — простите мне эти слова — возможно, я понимаю ее лучше, чем вы. Я, разумеется, не знаю, какие у вас в ее отношении планы, но, мистер Рашвуд, я умоляю вас подумать — самым серьезным образом, очень тщательно — о том, подходит ли ей это место; не лучше ли будет забрать ее из среды, где она постоянно одинока и подавлена, где ей приходится видеть и слышать вещи, способные шокировать любую молодую девушку, в особенности такую чувствительную и нервную, как она. Если вы не заберете ее отсюда, когда будете уезжать, я всерьез обеспокоена тем, что с ней может произойти, — я всерьез обеспокоена, что это разобьет ей сердце.

Мисс Свонсон движет любовь; доказательством тому — ее способность призывать к ходу событий, столь противоречащему ее собственным желаниям, ведь в отсутствие Фриды ее существование в клинике потеряет последние остатки смысла.

Посетителю мало-помалу делается все более не по себе во время ее длинной речи, которая, хотя и была произнесена голосом совершенно спокойным, поражает его таящимися в ней опасными чувствами. Он в первый раз проявляет какие-то признаки эмоций, осматриваясь вокруг, словно в поисках поддержки, с видом наполовину уязвленным, наполовину настороженным. «Это невыносимо! — думает он с возмущением. — Почему никто не придет и не уведет эту женщину?» Но кругом не видно ни души, и он вынужден ответить.

— Уважаемая сударыня, пусть вы и отказываете мне в способности понимать собственную жену, но по крайности мнение врачей вы не можете сбрасывать со счетов… — начинает он холодно, и тут одновременно происходят две вещи, спасая его от неловкости: из-за поворота частной дороги подкатывает машина, а из дверей клиники вылетает Фрида и бежит к ним по ступенькам.

Отдав своей собеседнице лишь кратчайший поклон, Рашвуд подходит к машине — девушка уже сидит там. Мисс Свонсон медленно машет рукой в ответ на трепыхание фридиного платка. Она смотрит вслед машине, пока та не скроется из виду, потом удрученно

идет к мастерской, к абажуру для лампы, который она разрисовывает по шаблону цветочным орнаментом. Ей ясно, что теперь день для нее будет тянуться уныло.

Для Фриды же, напротив, часы пролетают, как счастливые пташки. Словно ребенок, только что вернувшийся из интерната домой на каникулы, она хочет все видеть, заниматься всем сразу. Городок на берегу озера для нее — сущий рай; она носится по магазинам, ест пирожные и конфеты, покупает бессмысленные пустяки, не переставая болтать с мужем, чье отношение скорее напоминает отцовское: он одновременно снисходителен, рассеян и слегка нетерпелив. За обедом на веранде отеля он, не в состоянии больше сдерживаться, резко упрекает девушку за ее неприличное поведение, которое, как ему представляется, привлекает внимание окружающих. Несколько минут Фрида сидит тихо, потупившись, но вскоре забывает про выговор и начинает смеяться и разговаривать так же неудержимо, как раньше.

Запасы снисходительности у мужа быстро подходят к концу. Тот факт, что официанты явно принимают Фриду за его дочь и обращаются к ней «мадемуазель», усиливает его раздражение. Он устал и обеспокоен, у него начинает болеть нога, теперь в поведении Фриды ему видятся одни лишь недостатки. Наконец он предлагает прокатиться по озеру. Ему кажется, что ее ребячливая безответственность и восторженность будут менее заметны на пароходе.

С точки зрения мужчины вторая половина дня проходит лучше, чем утро. Конечно, его жена, оказавшись на корабле, поначалу приходит в возбуждение, бегает от борта к борту, с интересом перегибается через поручни на причалах, чтобы посмотреть, как люди поднимаются по сходням, бросает хлеб чайкам, которые, загадочным образом оказавшись в такой дали от моря, следуют за пароходом, словно белые тени. Но к концу поездки она делается тише, сидит рядом с ним на деревянной скамье, любовно обхватив рукой его пальцы. Он накрывает их колени своим плащом, чтобы никто не увидел, как она держит его за руку.

За ужином ее лихорадочное оживление возвращается. Вечер прохладный, на этот раз вместо веранды они оказываются в длинной обеденной зале. Ее большие, яркие, выпуклые глаза плутовато мечутся от одного столика к другому, неутомимым высоким голоском она изливает свои реплики на присутствующих. Рашвуд вынужден еще раз упрекнуть ее.

— Фрида, ты ведешь себя, как невоспитанная школьница, в самом деле. Тебе как будто невдомек, что делать замечания личного характера не смешно, а

попросту грубо.

– Но они же не понимают, о чем мы…

Нотка почти непереносимого раздражения, сквозящая в демонстративно спокойном тоне, которым он только что говорил, пронзает ее детское сердце, словно жестокая ледяная игла. Лицо ее комически обвисает, рот дрожит, слезы — внезапные, отчаянные слезы обиженного ребенка — до краев наполняют глаза.

– Ну полно, полно — нечего плакать, — поспешно произносит он, опасаясь сцены на людях.

К счастью, ситуацию разряжает официант, принесший мороженое. Рашвуд кладет подбородок на руки и смотрит через маленький столик на девушку, которая теперь поглощена розовой застывшей субстанцией у себя на тарелке. Его существо переполняет горечь. Будучи по натуре холодным и жестким, он, тем не менее, человек не такой уж недобрый, он не желает зла своей жене; дело лишь в том, что он не ощущает к ней сочувствия, не может отыскать в себе терпимости — его горечь направлена против судьбы, так дурно с ним обошедшейся. Он не может понять, почему за то, что он однажды увлекся хорошеньким личиком, ему полагается столь несоразмерное наказание. «Кто же мог предсказать, что все так обернется?» — устало размышляет он. Он рад, что ужин позади, что долгий, тяжелый день почти подошел к концу, что пора вновь передать его подопечную заботам врачей.

Машина поджидает их на улице перед отелем. Он испытывает глубокое облегчение от того, что Фрида не протестует против возвращения в клинику. Благодарность вызывает в нем более теплые чувства к ней, нежели те, что он испытывал весь день; в сумеречном уединении машины он прикасается к ее руке.

– Ты мне так и не показал свою комнату в отеле, — внезапно восклицает она, когда они начинают взбираться по крутой, извилистой дороге от озера.

Вот он, этот опасный момент, момент, которого он опасается. Но впереди уже показались фонари клиники; он спасен.

– Боюсь, я не смогу остановиться, — ровно говорит он. — Мне придется вернуться в контору. Сейчас как раз такое время, что мне нелегко отлучиться даже на несколько дней.

В машине воцаряется мертвая тишина. Даже он, при всей своей прозаичности и замкнутости, ощущает бремя тишины. «Почему она ничего не скажет?» — размышляет он, вглядываясь в эту отстраненную белизну — ее лицо. Машина резко описывает последний поворот,

и их тела бросает друг к другу.

Внезапно она хватает его за плечи обеими руками; его удивляет сила ее пальцев, он чувствует, как эти заостренные пальцы через пиджак и рубашку впиваются в его тело.

— Ты не можешь меня тут бросить… Ты обязан забрать меня с собой! — пронзительно вскрикивает она, прижимаясь к его груди.

— Послушай, Фрида, давай же рассуждать разумно. Тебе прекрасно известно, что я не могу тебя забрать — врачи говорят, что пока тебе следует оставаться тут.

Он пытается оторвать ее пальцы от себя; однако ему не удается поймать ее руки, которые, словно отчаявшиеся воробышки, колотятся повсюду вокруг, царапают его рукав, лацканы, галстук, даже его лицо. Он не в состоянии ничего поделать — лишь тупо защищается от этих царапающихся, колотящихся рук, оглушенный и возмущенный этим прерывистым высоким голоском, который наполняет закрытую машину нескончаемыми, бессвязными рыданиями.

Они уже подъехали ко входу в клинику. Шофер открывает дверцу машины и заглядывает внутрь, потом быстро захлопывает дверцу снова, пробормотав: «Одну секунду, мсье». Он, видимо, отнюдь не обескуражен тем, что видит в машине; вероятно, подобные вещи для него — дело вполне привычное. Он возвращается почти сразу с двумя медсестрами. «Если вы, мсье, сойдете тут, так будет лучше всего», — говорит он, практичный и деловитый, смущенному мужу.

Сестры готовятся схватить Фриду на случай, если она попытается воспрепятствовать этому шагу. Однако она, словно автоматически потеряв надежду при виде обладающих властью, уже прекратила всякое сопротивление, перестала вести себя агрессивно, беспомощно сжалась в углу, вялая, словно кукла, со слезами, бегущими по щекам.

Мистер Рашвуд выходит, машинально приводя в порядок растрепанный костюм. Машина быстро едет дальше.

— Ах ты, дурочка! — довольно мягко говорит одна из сестер рыдающей девушке. — Теперь тебе прямая дорога в «La Pinede».

Они подъезжают к дому в сосняке и ждут, пока откроют дверь. Женщины в белом поддерживают Фриду, та плачет и трясется до того сильно, что едва стоит на ногах. Над дверью включается свет, становится видно ее лицо, блестящее от слез, словно лицо человека, только-только появляющегося из воды. Шофер равнодушно наблюдает за тем, как троица входит и дверь за ними

запирается.

В прихожей, неярко освещенной, кто-то выдвигается из теней и приближается к группе. Это мисс Свонсон, долгое время терпеливо ожидавшая этого момента. Одетая в синее вязаное платье точно такого же фасона, что и сиреневое, бывшее на ней прежде, она подходит к девушке и, не обращая никакого внимания на сестер, заключает ее в сочувственные, торжествующие объятия.

СКОРО КОНЕЦ

перев. В. Нугатова

Прошло три дня, с тех пор как я получила официальное уведомление о своем приговоре, и эти три дня прошли, как во сне, словно в бреду.

Письмо было отослано по почте обычным способом и доставлено после полудня. Как ни странно, днем я даже повеселела, хотя уже давно пребывала в унынии. Светило солнце, и стояла чудесная, безветренная погода — был один из тех дней ранней весны, что порой вселяют в нас надежду после долгой, суровой зимы. Прекрасная погода заставила меня выйти из дому: ведь обидно сидеть взаперти, наедине со своими заботами, когда внешний мир преисполнен жизни и солнечного света. Я пошла через поля к лесистому холму. Это всегда был мой любимый маршрут, и по пути я с удивлением подумала, что давно уже не гуляла этой дорогой, что привычки мои изменились, да и сама я стала другой, с тех пор как на меня завели дело.

Чистые, естественные краски природы были словно омыты прозрачным, безмятежным светом. На изгородях местами виднелись яркие побеги, похожие на холодные языки пламени, а ветви были окутаны облаками фиолетовых почек. Со старого тиса на склоне холма на удивление молчаливо и уверенно вспорхнули две коричневые совы: я спугнула их своими шагами и взглянула на птиц, будто на старых друзей. Вернувшись домой, я решила чаще выходить на улицу и, вместо того чтобы сидеть в помещении, предаваясь бесполезным раздумьям, брать от природы по максимуму, общаясь с братьями нашими меньшими, раз уж они не представляли для меня угрозы.

Если б я только знала, что меня ожидает, едва я переступлю порог! Но у меня не было никаких дурных предчувствий — напротив, как я говорила, такого оптимизма я уже не испытывала бог знает сколько времени. Помню, войдя через калитку в сад, я

вспомнила о человеке по имени Дэвид П., с которым недавно познакомилась. Он находился в том же положении, что и я, ожидал результатов слушания своего дела, и меня восхищали его уравновешенность, мужество и выдержка в условиях почти невыносимого напряжения.

— Как вам удается сохранять такое спокойствие? — спросила я, уже готовая поверить, что он обладает какими-то секретными сведениями или, возможно, пользуется влиянием в официальных кругах. Я также отметила, что среди всех обвиняемых, с которыми я встречалась, лишь у него был беззаботный, даже счастливый вид.

— А что проку нервничать? — ответил он. — Уверяю вас, никакие треволнения не повлияют на окончательный исход. Я даже склоняюсь к мысли, что лучше вообще поменьше думать о наших делах: если ты доверяешь своему консультанту, можно смело положиться во всем на него. А что касается довольного вида, в жизни есть еще много поводов для радости. По-моему, главный секрет в том, чтобы сосредоточиться на вещах, которые у тебя не отнять, — например, прошлое, деревья, поэзия…

Конечно, я часто вспоминала этот разговор и раньше, но только теперь (какая ирония, что понимание пришло именно в эту минуту!), кажется, поняла, как применить слова Дэвида к себе.

Поглощенная этими мыслями, я вошла в дом. Как раз доставили послеполуденную почту: почтальон просунул письма в дверную щель, и они валялись на полу. Я наклонилась за ними и поначалу не заметила ничего интересного: рекламный буклет да парочка то ли счетов, то ли квитанций. Но затем под каталогом электрических лампочек я увидела голубой официальный конверт, нащупала до боли знакомую плотную бумагу, и сердце екнуло.

Вплоть до этой минуты я даже не догадывалась, что может находиться в письме. С тех пор как началось судебное разбирательство, на меня изредка сваливались эти голубые документы — либо пустой бланк, либо двусмысленное сообщение или выписка из какой-то непостижимой «синей книги». Поэтому, ни о чем не подозревая, я решила, что это очередное известие такого рода. Даже вскрыв конверт и прочитав вложенную бумагу, я поначалу не могла вникнуть в смысл послания.

«Этого не может быть, кто-то меня разыгрывает, — подумала я, когда до меня постепенно дошла суть. — Ведь это не делается так легкомысленно… такое не отправляют по почте? Они должны были прислать хотя бы кого-нибудь, какого-то… курьера?..»

Но затем по стенам пробежала странная вибрация, как от проточной воды, они настороженно сдвинулись, и я отчетливо поняла, что письмо — вовсе не шутка, но вместе с тем обрадовалась, что я одна в холле и мое лицо видят только стены.

Это случилось три дня назад. С тех пор время несется неостановимым потоком. Возможно, сегодня или завтра обрушится последний удар: я знаю, что у меня осталось не больше недели или дней десяти. Как вести себя обреченной? Власти никогда не присылали мне брошюрок с подобной информацией! Иногда я даже чувствую облегчение при мысли, что все позади, что тревожное ожидание окончилось, но порой я совершенно не в силах осознать, что это конец. Смотрю на вязы с набухшими почками, которые распускаются нежно-фиолетовыми цветами, и не могу поверить, что никогда не увижу листья размером больше мышиных ушек. Нет, нет, это просто абсурд — этого не может быть… Роковое голубое уведомление получил кто-то другой, возможно, Дэвид П.: уж он-то знает, как вести себя в подобных обстоятельствах, уж он-то стойко и философски перенесет объявление приговора, который мне не хватает смелости даже обдумать.

Я постоянно ощущаю, как в груди бьется сердце, решительно и энергично разгоняя по жилам кровь. Я где-то прочитала, что если кровь жидкая, она стремится вернуться обратно. Но моя кровь не жидкая, и она не желает течь вспять.
Невыносимая апатия крови! Сколько людей, умиравших на эшафоте, должно быть, подверглись этому неописуемому наказанию, не внесенному ни в один уголовный кодекс!

Вчера после полудня я прилегла на кушетку в гостиной. Прошлой ночью я почти не сомкнула глаз и почувствовала, что должна немного отдохнуть, но едва опустила голову на подушки, в ушах прозвенел чей-то голос: «Ты что, собираешься пролежать целый час с закрытыми глазами, которые, возможно, больше никогда ничего не увидят?»

Я вскочила и, словно душевнобольная или человек, одолеваемый фуриями, стала носиться по комнатам, выбежала в сад, в поля и, напрягая зрение, старалась уловить каждую деталь, запомнить образы всех тех вещей, которые так скоро скроются от меня навсегда. Позднее, в полном изнеможении, я зашла в кафе чего-нибудь выпить, но, взяв в руки бокал, ощутила желание отшвырнуть его, дабы не замутнить даже каплей алкоголя четкий образ того, что, возможно, станет последней увиденной мною сценой.

Там было много моих знакомых. Они смеялись и болтали о наступающем лете, о том, что собираются

делать долгими летними днями. Как я могла остаться и слушать их разговор, зная, что в то самое время, когда они будут воплощать столь беспечно составляемые планы, меня ожидает полнейшее бездействие? Но, с другой стороны, как же мне усидеть дома, отвечая на вопросы садовника о семенах на лето и прислушиваясь к щебетанью своей дочурки, которая даже не знает, что со мной творится, и тоже стрекочет о будущем лете и о том, чем мы займемся вдвоем?

Проходит час за часом — то медленно, то молниеносно, неумолимо приближая меня к концу. Я недоверчиво слежу за тем, как течет время, не давая никакой передышки. «Неужели никто ничего не сделает? — хочется мне воскликнуть.

— Неужели меня ничто не спасет? Они не могут уничтожить меня вот так. Должно же прийти письмо о том, что это ошибка. Ведь кто-нибудь обязан что-то сделать».

Но никто вокруг даже не знает о происходящем. Один лишь пес, видимо, чует, что со мной что-то неладно. И когда прямо сейчас, больше не в силах молча выносить страдания, я шепчу ему:

– Эх, Тиж, скоро нам придется расстаться: этот кошмар в самом деле произойдет со мной, и меня уже ничего не спасет, — я вижу, как его блестящие карие глаза затуманиваются, словно от слез.

КОНЦА НЕ БУДЕТ

перев. В. Нугатова

«Куда пойду от Духа Твоего, и от лица

Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты

там; сойду ли в преисподнюю, и там Ты.

Возьму ли крылья зари, и там рука Твоя

поведет меня».

Пс. 138, 7—10.

В последние дни я не могу мыслить ясно, насилу припоминаю, но думаю, эти слова были сказаны об Иегове, хотя их можно также применить к моему врагу, если только можно его так называть. «Сойду ли в преисподнюю, и там Ты». Именно эта фраза звучит у меня в голове с пугающей уместностью: ведь я, разумеется, сошла в преисподнюю, и он, разумеется, здесь со мной. Он все время рядом, хоть я его и не вижу. Лишь иногда, ранним утром, пока еще не рассвело, мельком замечаю, как в окно заглядывает отчасти знакомое лицо, которое всегда так быстро исчезает, что я не успеваю рассмотреть. Всего один раз вечером дверь моей комнаты внезапно приоткрылась, и кто-то заглянул в щель, а затем поспешно скрылся из виду, убежав по коридору. Возможно, это был он.

Почему он шпионит за мной теперь, когда добился своей цели и привел меня к гибели? Вряд ли он хочет удостовериться, что я никуда не убежала — это совершенно исключено, ему абсолютно нечего опасаться. Быть может, он просто глумится над моим горем? Да нет, не думаю, что причина в этом, иначе он приходил бы чаще и обижал бы меня, когда я погружаюсь в самую пучину отчаяния.

После того как я мельком, смутно увидела его лицо, у меня почему-то сложилось впечатление, что вид у него не мстительный, а родственный, как будто нас тесно связывает некая духовная или кровная близость. А недавно мне пришло в голову (согласна, мысль эксцентричная), что, возможно, он не мой личный враг, а какая- то моя проекция, посредством которой я отождествляю себя с жестоким, разрушительным мировым началом. Разве на нашей планете, где происходит столько естественных конфликтов, не могут существовать определенные личности, испытывающие неодолимое влечение к гибели и смерти? И разве это не способно привести к действительной материализации, когда по свету бродит некий фантом?

В последнее время я много об этом думала, сидя здесь и глядя в окно. Ведь, как ни странно, в этом месте есть окна без решеток и двери, которые даже не запираются. Судя по всему, ничто не мешает мне выходить наружу, когда мне заблагорассудится. Но хотя никаких видимых преград нет, я слишком хорошо знаю, что окружена незримыми, непроходимыми стенами, что смыкаются высочайшими куполами в точке зенита и спускаются на много миль под землю.

Вот меня и настиг долгожданный фатум, бесконечный конец, неброский триумф врага, который, как ни крути, мнится родным, словно брат. Мне уже кажется, будто я просидела всю жизнь в этой тесной комнате, чьи стены будут тайком за мной наблюдать все бесчисленные будущие жизни. Так это жизнь или смерть протянулась бесцветной полосой спереди и сзади? Здесь нет ни любви, ни ненависти, ни какой-либо точки накопления чувств. В этом безымянном месте все выглядит бездушным, далеким, нереальным, и меня преследует воспоминание о запахе пыли под моросящим летним дождем.

За моим окном — сад, где никто никогда не гуляет: над ним не властны времена года, ибо все деревья вечнозеленые. В определенное время дня я слышу стук шагов по бетонированным дорожкам, пересекающим лужайки, но сад всегда остается безлюдным, словно созданный для того, чтобы им любовались случайные посетители да одиноко созерцали издали такие же пораженцы, как я. В этом безличном саду, воплощающем аккуратную пустоту, нет ни единой беседки, где могли бы посидеть друзья, а лишь бетонные тропинки, по которым торопливо шагают люди, даже не замечая пения птиц.